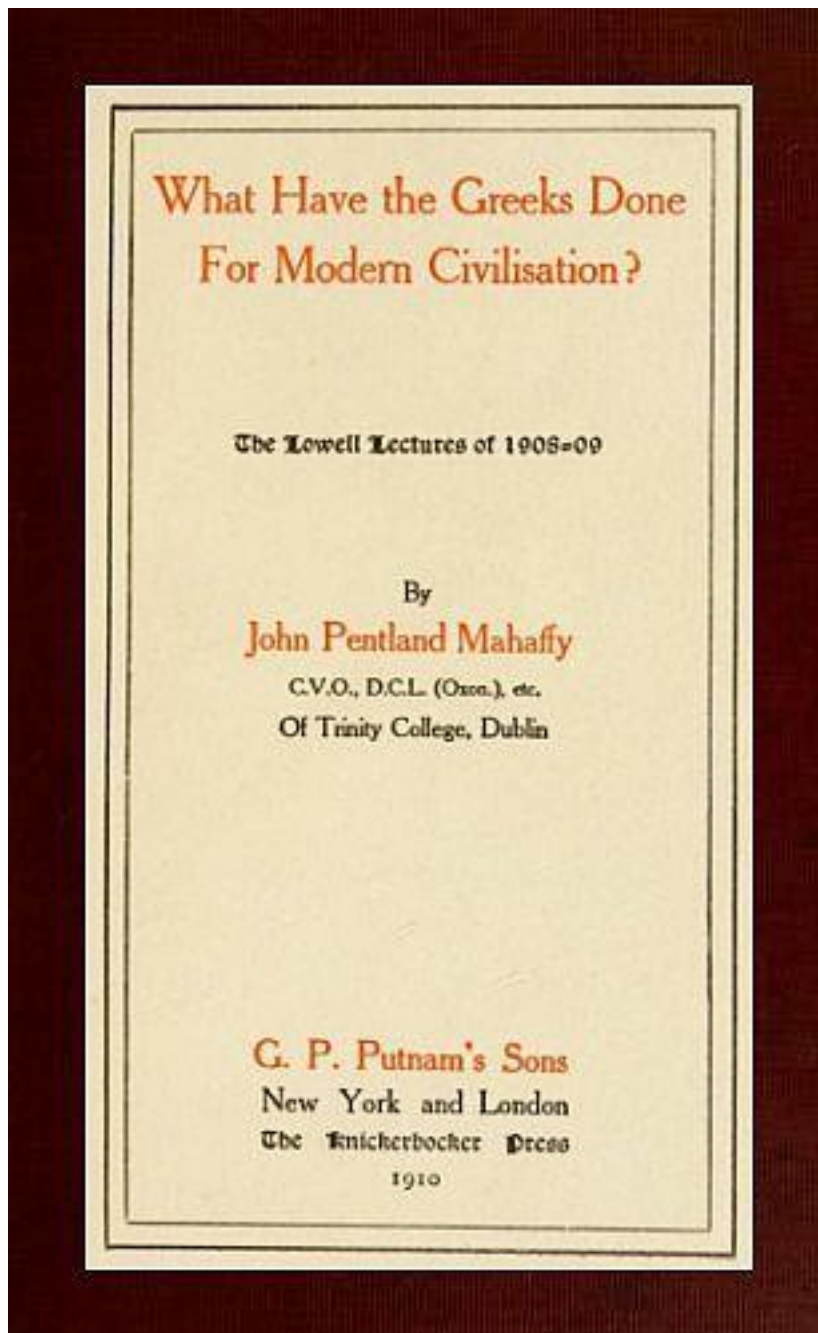


Что сделали греки для современной цивилизации

Дж. П. Махаффи



Электронная книга проекта "Гутенберг" Что греки сделали для современной цивилизации?

Эта электронная книга предназначена для использования любым человеком в любой точке Соединенных Штатов и большинства других частей мира бесплатно и практически без каких-либо ограничений. Вы можете скопировать его, раздать или повторно использовать в соответствии с условиями лицензии Project Gutenberg, прилагаемой к этой книге, или онлайн по адресу www.gutenberg.org. Если вы находитесь за пределами Соединенных Штатов, вам необходимо ознакомиться с законами страны, в которой вы находитесь, прежде чем использовать эту электронную книгу.

Название: Что греки сделали для современной цивилизации?

Автор: Дж. П. Махаффи

Дата выхода: 26 марта 2019 [Электронная книга № 59132]

Последнее обновление: 24 января 2021

Язык: Английский

В титрах: Подготовлено Чаком Грейфом, deaurider и командой онлайн-корректоров по адресу <http://www.pgdp.net> (Этот файл создан на основе изображений, щедро предоставленных интернет-архивом)

*** НАЧАЛО ПРОЕКТА "ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА ГУТЕНБЕРГА" ЧТО ГРЕКИ СДЕЛАЛИ Для
СОВРЕМЕННОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ? ***

Содержание.

Индекс.: [A](#), [B](#), [C](#), [D](#), [E](#), [F](#), [G](#), [H](#), [I](#), [J](#), [K](#), [L](#), [M](#), [N](#), [O](#), [P](#), [R](#), [S](#), [T](#), [U](#), [V](#), [W](#), [X](#), [Z](#)

(примечание переписчика текста)

Что греки сделали для современной цивилизации?

Лекции Лоуэлла 1908-09

Джона Пентленда Махаффи,
К.В.Н., Д.С.Л. (Оксон) и др.
Из Тринити-колледжа, Дублин

Сыновья Г. П. Патнэма
Нью-Йорк и Лондон

The Knickerbocker Press

Авторское право, 1909,
АВТОР
Дж. П. МАХАФФИ



Напечатано в Соединенных Штатах Америки

SANCTÆ MEMORIÆ
UXORIS CARISSIMÆ
CUJUS DULCI CONSORTIO
INGENII SUI PRIMITIAS
ABHINC JAM ANNOS XL
DEDICAVIT
NUNC SERUM LABOREM
CONSECRAT AUCTOR

ПРЕДИСЛОВИЕ

ЭТИ лекции, прочитанные в Бостоне по приглашению куратора Института Лоуэлла в декабре и январе 1908-1909 годов, теперь опубликованы по многочисленным просьбам как тех, кто их слышал, так и тех, кто не слышал. Они представляют собой попытку охватить всю сферу греческого влияния, не только в различных искусствах, в которых такое влияние обычно проявляется, но и в тех областях мышления, в которых современные люди присваивают себе неоспоримое превосходство. Тем не менее, даже в следующем обязательно кратком и популярном очерке будет обнаружено, что в том, что касается *мышления*, греки были столь же совершенны в науке, как и в других областях, и, хотя они не открыли силу пара или электричества, они, тем не менее, выполнили в механике работы, с которыми еще не сравнялся ни один современный строитель, со всем его хваленым контролем над природой, и поэтому в

других областях не только греческая форма, но и греческая мысль были величайшими и яснейшими из всех, которые когда-либо видел мир.

И все же я полагал, что высокий почет, которым долгое время пользовалось изучение греческого языка, сменился безразличием или даже презрением, особенно в Америке, где, как говорили, спешное образование, предназначенное для “практической жизни”, заняло место старого гуманитарного образования, предназначенного для воспитания джентльменов. Но во время моего фактического визита в Америку я обнаружил, что был введен в заблуждение относительно полноты этой деградации греческого языка. Как это обычно бывает, незнакомец начинает с того, что у него складываются ложные впечатления о стране, которую он посещает, и исправить их он может только постепенно, на основе детального опыта. Было много признаков того, что общественное мнение в Штатах ни в коем случае не удовлетворено мыслью об абсолютном господстве современной науки или о специализированном образовании по прихоти невежественной молодежи или еще более невежественных родителей. Даже работодатели на фабриках начинают понимать с тем простым здравым смыслом, который отличает прочную основу американского общества, что молодые люди, получившие гуманитарное образование, более умны и полезны как торговцы или механики, чем те, кто освоил только один предмет. Интеллектуальный взгляд сказывается даже на ремесле подмастерья.

Следовательно, есть некоторая перспектива того, что ошибки последнего поколения (возможно, из-за влияния Гарварда и других университетов) будут исправлены, и что надлежащее образование в колледже снова заменит скучные занятия в предыдущие годы на всех хороших курсах подготовки. Если произойдет такое восстановление здорового образования, невозможно, чтобы греческий язык не вернул себе бывшее значение. Сейчас мы знаем о трудах эллинов гораздо больше, чем наши предки. Мы могли бы оправдать изучение греческого языка совершенно непривычным для них способом, если бы они когда-либо думали, что такое оправдание требуется. Но, с другой стороны, преподавание греческого языка должно быть реформировано. Это должно быть гуманное и живое изучение, преподаваемое как современный язык с помощью диктовки и декламации, а также письменного сочинения и чтения авторов. Во многих английских государственных школах вошло в моду не только преподавать старые языки так, как если бы они действительно были мертвы, но и портить преподавание современных языков, копируя эту ошибку. Большая часть предубеждения против изучения греческого языка была создана этой ошибкой и ее распространением на родственные исследования. Но я верю, что и это будет исправлено, и у нас будет более разумный метод обучения всем языкам как живым средствам человеческого самовыражения. Среди них греческий, безусловно, самый совершенный.

Если эта небольшая книга сможет помочь в этой великой реформации, она в полной мере достигнет своей цели.

Я не могу не поблагодарить своих многочисленных американских друзей за их сочувствие и поддержку. Во время моего визита все, казалось, были готовы услышать то, что я хотел сказать, и в некоторых дискуссиях, которые стали результатом, особенно в Филадельфии, казалось, что большинство высказалось в мою пользу. Прежде чем я закончу, стоит сделать два замечания: американские профессора греческого и латыни имеют точно такой же опыт, что и мы в Ирландии, в отношении отказа от греческого, заявляя, что сохраняем латынь. Ни там, ни в

Ирландии мы не упускали из виду ухудшение преподавания латыни, и у нас растет убеждение, что учитель, не знающий греческого, не может быть знатоком латыни в каком-либо реальном смысле.

Вот и все, что можно сказать о хвастливом сохранении латыни, пожертвовав греческим.

Следующее наблюдение касается модного сейчас посещения курсов английской литературы. Ни разу за время моего визита я не слышал, чтобы среди этих изучающих английский язык завязывался литературный разговор.

У них, без сомнения, есть замечательные профессора в огромном количестве, специалисты по каждому английскому поэту и прозаику, которых стоит назвать. Но, по-видимому, поэзия, выученная без труда на родном языке, не усваивается и не ценится так, как поэзия классических языков, и от них восторг от литературы как таковой распространяется на родственные исследования. Где бы я ни цитировал поэтов или действительно великую прозу, такую как Библия, среди молодых людей, изучавших английский язык в качестве предмета для получения диплома, я обнаруживал странное незнание того, что должно было быть наиболее знакомым. Я был почти вынужден поверить в парадокс, заключающийся в том, что без классического образования даже правильное понимание английской литературы необычно.

Джей Пи Эм

На борту эсминца "Селтик", 20 января 1909 г.

Содержание

	СТРАНИЦА
Предисловия	ii
I.	Вводная 1
II.	Греческая поэзия 31
III.	Греческая проза 65
IV.	Греческое искусство—I: Архитектура и скульптура 98
V.	Греческое искусство—II: живопись и музыка 125
VI.	Наука: грамматика—Логика—математика—Медицина 147
VII.	Политика—Социология—Право 181
VIII.	Высшее Мышление, Философия, Спекулятивное и практическое Богословие 213

Что греки сделали для современной цивилизации?

I

ВВОДНЫЙ

ПОСЛЕ более чем полувека, проведенного за изучением древнегреческой жизни в ее искусстве, политике, литературе, философии и науке, я с радостью пользуюсь этой обширной и достойной возможностью дать обзор того, что я узнал, этой аудитории, чей интеллектуальный уровень и чья симпатия к работе студента признаны во всем мире. Для любого человека из Европы большая честь выступить с этой трибуны, но, как следствие, это влечет за собой серьезную ответственность, и невозможно стоять здесь перед вами без некоторого чувства благоговения, поскольку я чувствую, что обращаюсь не только к этой самой привередливой аудитории или даже к более широкой американской публике, с которой я с радостью утверждаю, что давно знаком по своим книгам, но к огромному собранию образованных классов во многих разных странах.

Я не думаю, что кто-либо из вас будет расположен оспаривать тот факт (который предполагает само название этих лекций), что современная цивилизация, с различных точек зрения, в большом долгу перед древними греками. Если здесь есть какой-нибудь такой скептик, я надеюсь, что он обратится в ходе моей беседы с ним с этой платформы. Но даже для тех, кто с готовностью признает этот факт, явные доказательства этого могут оказаться бесполезными, поскольку они покажут вам причины, которые уже давно убедили мир учителей сделать греческий важным элементом гуманитарного образования. Принимая, однако, на данный момент главный факт, я думаю, что мне будет полезнее начать это рассуждение с обсуждения предполагаемых причин, которые обеспечили грекам это любопытное превосходство. Возможно, использовать знакомые слова - значит ставить телегу впереди лошади, но вряд ли вам нужно напоминать, что если в логике мы часто не объясняем утверждение до тех пор, пока не установим его истинность, то со временем порядок меняется. Причины каждого великого результата скрыты в прошлых веках, окутаны туманом древности, покрыты облаком забвения, так что в данном случае рассмотрение доисторических причин величия греческого интеллекта вполне может предшествовать доказательствам этого величия, которые мы собираем при свете лампы истории, часто тусклой, если не при свете прожектора археологической науки. Хотя этот предмет не может не показаться некоторым из вас скучным, я сделаю все возможное, чтобы развеять скуку иллюстрациями или даже отступлениями в родственные области знаний.

Я знаю, что есть два соображения, которые в умах людей, которых легко удовлетворить, сойдут за адекватное описание этого экстраординарного гения греков. Обычно, особенно среди тех, кто не потрудился выучить греческий, говорят, что на самом деле величие эллинской расы было создано благодаря Риму. Рим покорил западный мир своими дорогами, своими армиями, своими законами, своим языком и произвел впечатление даже на варваров той культурой, которую он сам перенял и развил. Латинские народы, находившиеся в авангарде цивилизации вплоть до семнадцатого века, были дочерьми Рима и практически не получали непосредственного обучения из Греции.

Все это совершенно верно, но это лишь отодвигает проблему на шаг назад. Если предположить, что римляне были носителями просвещения на Севере и Западе Европы, то почему они так полностью зависели от греческого учения; почему они все до единого признавали, что это был уникальный источник их прогресса? В свое время они соприкоснулись с культурой Карфагена, Сирии, Египта. Но величие этих стран никогда не было для римлян чем-то большим, чем просто диковинкой, тогда как греческая культура была самым дыханием их интеллектуальной жизни. Вергилий, очень великий поэт, строит каждое свое произведение по греческим образцам и переводит даже со второсортных греческих произведений. Гораций, очень великий художник, гордится тем, что создал греческие тексты у себя дома, в своей стране, а Лукреций, чья репутация оригинальника среди современных критиков в основном обусловлена полной утратой оригинала, который он скопировал, сам считает своей главной заслугой то, что он рискнул воспроизвести еще не скопированный вид греческой поэзии. Трудно представить себе более полное доказательство беспрецедентного влияния эллинского гения на гордых и властных соседей. Я просто напому вам, как новая волна греческого влияния, пришедшая в романизованную Европу в пятнадцатом веке, вызвала такую революцию в литературе и искусстве, которую можно назвать новым рождением (Renaissance).

Давайте обратимся к совершенно иному объяснению, которое обычно приводится в начале большинства современных трудов по истории Греции, как *к причине*, объясняющей замечательный и исключительный результат. Эта теория является отголоском знаменитого начала великой книги Бакла о цивилизации, в котором утверждается, что человек является созданием внешних обстоятельств и что они определяют не только его физическое, но и интеллектуальное развитие. В частности, величие Египта и его ранняя победа над препятствиями природы приписываются теплу и влажности климата; и поэтому нам говорят, что умеренный воздух Эгейского моря, множество его островов, изрезанное побережье, фьорды, ломаные очертания и разнообразный пейзаж — все это таково, что люди, живущие среди них, естественным образом развили бы качества, которые, в свою очередь, обеспечили первенство Греции. Такие выводы основаны на очень поверхностных и неточных наблюдениях. Предполагалось, что Египет обязательно был единым государством из-за изоляции его территории от соседей и из-за того факта, что его великая магистраль, Нил, пересекала всю страну. Теперь мы знаем, что это ложь и что сведение Египта сначала к двум, а затем к одному государству не было достигнуто до тех пор, пока не прошли века разделения между *егонами*, и было достигнуто не естественной необходимостью, а гением завоевателя. Что касается физических особенностей этой страны, то все они можно найти опять же на реке Инд, с ее притоками из далеких внутренних Альп, вызывающих периодические наводнения, с ее огромной дельтой, простирающейся от Хайдарабада, с ее долгим течением через пустыню, которое не дает ей возможности расти; и все же народы Инда никогда не процветали и не достигали расцвета, как египтяне. Насколько позволяют судить наши свидетельства, мы можем утверждать, что если бы египтяне были поселены на Инде, а население Инда - на Ниле, соответствующие роли, которые играли эти реки в цивилизации, поменялись бы местами. Я также убежден, что если бы греческая раса поселилась на Адриатическом море со множеством фьордов и островов, напротив Италии, а не в Малой Азии, или на западном побережье Италии с ее мысами и заливами, с ее большими и плодородными островами в пределах видимости, — эти обстоятельства были бы одинаково благоприятны для их гения, тогда как их было недостаточно, чтобы поднять корсиканцев и сардинцев, возможно, наиболее расположенных из всех, с очень низкого уровня среди наций. Я не буду упоминать Сицилию, извлеченную греками из ее

безвестности, ибо они уже были великими нациями, когда превратили этот великолепный остров, долгое время ничем не примечательный при сикелах, сиканцах, финикийцах, в блистательную провинцию Эллинизма. Возможно, кому-то из вас может прийти в голову, что особые качества этой расы произошли оттого, что она была более чистой ветвью великого арийского происхождения, чем ее собратья; что это был в высшей степени иафет, обитавший в шатрах Сима, не запятнанный отбросами низших рас, чей анимализм сохранился в недостатках других арийских рас, обитавших среди них. Но, похоже, дело обстоит как раз наоборот. Чем больше мы изучаем греческий язык, тем больше нас поражает количество странных корней, которые указывают на неарийское происхождение. Многие из наиболее часто употребляемых слов, таких как βασιλεύς и τύραννος, не следует объяснять арийскими корнями, и любой, кто изучал такие топонимы, как Тиринф, Ассос и их сородичи, справедливо придет к выводу, что греки были не более чистыми от примесей, чем славяне или кельты.^[1] Таким образом, после всего, что было приведено для объяснения интеллектуального превосходства греков, мы вынуждены вернуться к окончательному факту — который не был объяснен — что они обладали национальным гением, которого не было у их братьев и соседей. Пока что непреложным фактом является то, что человеческая раса не страдает от жары и влаги, кроме как в количественном отношении. Некоторые из них были выше с самого раннего момента, когда мы смогли наблюдать или сделать вывод об их состоянии. Другие оставались ниже, несмотря на самые благоприятные обстоятельства. Это загадка, которую еще не разгадал ни один историк. Но разве это более странно, спрашиваю я, чем спорадическое и необъяснимое появление в устоявшемся и известном обществе отдельного гения? Это тот параллельный случай, с помощью которого я не могу объяснить, а только отстаиваю свою позицию. Разве более странно, что одна нация вошла в историю с исключительными способностями, чем то, что в жизнь, согласно неизвестному нам закону, вступает индивидуальный гений? Если вы оглянетесь на семейную историю тех, кто создавал или разрушал империи, кто добавил новые области в науку, кто создал поэзию мира, вы не найдете ни закона, ни причины, объясняющей их спорадическое появление, подобное появлению сверкающих метеоров на упорядоченном звездном небе. Обычно они происходят от ничем не примечательных родителей; у них есть ничем не примечательные братья и сестры; они не передают своих выдающихся качеств, за исключением некоторых редких случаев, как бы показывая, что даже здесь нет запрещающего закона. Это могут быть одинокие, или старшие, или младшие дети, или члены большой семьи. Им необязательно отличаться физическим здоровьем. Когда-то жил посмертный и все же преждевременно родившийся младенец, такой хилый и несчастный, что, если бы не горести овдовевшей матери, мало кто приложил бы усилий, чтобы сохранить ему жизнь, потому что это был ее первенец. Милосердные соседи ухаживали за ним с удивительной заботой и таким образом спасли его жалкую искорку жизни от угасания. После хрупкой и однообразной юности ребенок поступил в Кембридж; в последующие годы он был известен как сэр Исаак Ньютон.

Но если до тех пор, пока цивилизованные общества окутывают первые зачатки индивидуальной человеческой жизни тайной, мы можем лишь относить спорадические проявления гениальности к случайности, стоит ли удивляться, что по прошествии веков детство наций покрыто туманом, и мы не в состоянии дать лучшего ответа, объясняющего появление национальной гениальности у одной расы, в то время как ее братья и сестры не выше вульгарного среднего уровня? Я настаиваю только на одном: давайте не будем отрицать великий факт только потому, что мы не можем его объяснить.

Принимая тогда как окончательное, что одна нация может быть одарена гениальностью выше остальных, давайте рассмотрим, в чем заключается это превосходство. И здесь нам снова поможет аналогия с индивидуальным гением. Первый и самый поверхностный ответ заключается в том, что гениальность оригинальна, что она порождает новые идеи, новые решения проблем, новые направления исследований, в то время как обычный человек может научиться только тому, что другие уже открыли для него. Но более глубокое и тщательное исследование открывает нам, что абсолютно новые идеи встречаются крайне редко; почти вся работа человеческого гения состоит в усвоении того, что думали другие, в объединении того, что другие представляли себе отдельно, в изменении формы своей мысли и, таким образом, создании того, что кажется совершенно новым, и все же является всего лишь старым в новом аспекте. Ни один пример этого не является более знаменательным, чем дар великого композитора в музыке. Дар оригинальной мелодии, как его называют, редок и драгоценен. Обладатель этого дара по праву считается гением. Но никакая мелодия не могла бы заговорить с нами, если бы не сочетание прекрасно известных элементов. Оригинальность заключается только в их усвоении и воспроизведении.

Если мы тогда признаем, что усвоение того, что сделали другие, является наиболее важной чертой гениальности, мы можем утверждать не только то, что греки были одарены этой способностью, но мы можем пойти дальше и сказать, что они поселились в части мира, в высшей степени подходящей для предложения новых идей и предоставления простора для всех комбинаций, к которым их побудил их гений. Я уже объяснял, насколько сильно я отличаюсь от тех, кто придает большое значение особенностям страны, населенной этой расой. Внешняя природа была именно тем, что греки на протяжении всей своей великой истории ощущали менее остро, чем мы могли бы ожидать. Отсутствие у них чувства живописности в природе даже называлось их заметным недостатком. Но, хотя я и отвергаю все подобного рода аргументы, я вполне готов по самым разным причинам придавать большое значение географическому положению Греции. Это аргумент, которого, я думаю, вы не найдете в ваших исторических источниках. Этот народ обосновался на границе двух очень разных цивилизаций, так что они смогли усвоить идеи обеих и вплести их в свою собственную ткань.

Относительно влияний, идущих с юго-востока, никогда не было никаких сомнений. Все легенды о Кадме, Данае и им подобных утверждают, что культура Финикии и Египта была перенесена в Грецию. То же самое говорится и об империи Миноса на Крите, которая, как теперь установлено, была реальностью и из которой очень ранняя культура прошла через Эгейские острова к берегам Греции. У нас нет доказательств того, попали ли ранние графические системы, использовавшиеся в Кноссе, в Микены или Тиринф. Скорее всего, так оно и было, и, возможно, это были “зловещие символы”, которые Гомер упоминает как посланные с Беллерофонтом, чтобы решить его судьбу с ликийским царем. Но в любом случае финикийский алфавит появился; выгравированные печати были привезены теми же торговцами из Вавилона; страусиные яйца, слоновая кость из Африки, рисунки на многих предметах не оставляют сомнений. Несмотря на все это, самое раннее искусство Греции — я пока не буду называть его эллинским — не восточное, а европейское, и со своими особенностями. И это не обязательно относить к его оригинальности; гораздо более вероятно, что это было вызвано ассимиляцией другого вида культуры, которая имела свои особенности и которая, как можно показать, оказала свое влияние на микенское искусство. Эта цивилизация обитала в центральной Европе и пришла с севера в Грецию. Его называли кельтским, его называли пеласгийским; мы находим его в гробницах и в ратах даже в Ирландии. Именно из этого источника пошло пристрастие к

балтийскому янтарю в качестве украшения — вещи столь же странной в Греции, как страусиное яйцо. Отсюда также произошла форма раннего бронзового оружия, вероятно, обычай хоронить мертвых в гробницах-ульях; на самом деле многие узоры использовались для украшения инструментов и оружия. И кто может сказать, сколько еще просочилось из этого источника, который древние греки называли пеласгийским? Таким образом, эллинская раса оказалась на грани двух типов культуры и на основе обоих создала тот особый тип, который в конечном итоге стал самым совершенным в мире.

Может показаться, что способность к ассимиляции подразумевает сопутствующую слабость — опасность поглощения или вырождения в нации, чьи идеи перенимаются и развиваются. В истории человечества были случаи, когда покоренная раса отказывалась от своего языка и религии и перенимала их у своих завоевателей. Есть и другие случаи, когда завоеватель был поглощен, а подчиненная раса вновь заявила о себе, несмотря на господствующий язык и законодательство, призванные обеспечить ее окончательное поглощение. Одной из характерных черт эллинской расы является то, что, хотя она и была очень восприимчива к чужеродным идеям, хотя всегда была готова воспользоваться открытиями соседей, она никогда не отказывалась от своего первенства в типе и никогда не была поглощена какой-либо другой популяцией, за исключением, возможно, единичных случаев и после столетий разлуки с материнской расой. В Eretrians кого Дария как пленных, в Азию и поселились в богатых полях Вавилонии были, несомненно, в долгосрочной перспективе поглощаются окружающими национальностями, но они были все еще узнаваемы, когда Александр конпообежден его империи почти двести лет спустя, и, возможно, они тоже постоянно влияет обычай народа, Посидония (Pæstum в Италии) на другом конце цивилизованного мира, которые действительно были, как Страбон говорит нам, спустя столетия, barbarised и у самнитов, но, тем не менее, все еще встречались раз в год, чтобы оплакивать свою судьбу, и сожалеть о их потере эллинской жизни. За исключением этих немногих исключений, эта раса категорически отказывалась быть поглощенной какой-либо другой, какой бы цивилизованной, какой бы доминирующей она ни была, и оставалась неизменной по языку и характеристикам со времен, когда Гомер сочинял для ахейских вождов, вплоть до наших дней, когда каждый ученый или студент смотрит на Афины как на цель своего паломничества.

Постоянство греческого языка является великим и поразительным доказательством. Я полагаю, что никогда не было поколения греков с 8 века до н.э. по 20 век н.э., которое не понимало Гомера; но если вы склонны приписывать это сентиментальным причинам, то я скажу, что древнейшая аттическая проза отличается от современной настолько мало, что представляет нам уникальный пример настойчивости. Позвольте мне сформулировать это так: Геродот, если бы вы вызвали его из могилы и дали ему в руки современную греческую газету, сначала обнаружил бы шрифт novel, но вскоре узнал бы в нем свой собственный алфавит. Затем он открыл бы для себя диалект своего греческого, какой слышал в Афинах, и хотя он, несомненно, назвал бы его очень вульгарным и даже варварским, через день или два он прочитал бы его довольно бегло. Насколько мне известно, ничего подобного вы не найдете в Европе.

Возвращаясь к постоянству характеристик, с моей стороны излишне подробно излагать вам эту тему, поскольку в книге, которая составляет основу нашего с вами старого знакомства, я имею в виду мою *моюобщественную жизнь в Греции*, главный тезис, тогда, но теперь уже не парадоксальный, заключался в том, что, хотя классические греки проделали огромную интеллектуальную и художественную работу, с которой их потомки не могли соперничать,

моральные черты гомеровских, алкаевских, пиндарических, платонических, ксенофоновских, демосфеновских греков были во многом такими же, как у древних греков. те из наших друзей, которые сейчас предъявляют претензии на Македонию. Тот же ум, не без особого удовольствия перехитрить оппонента, то же усердие, тот же подлинный патриотизм, но также и та же неугасимая ревность к успеху других, тот же недостаток духовности в религии, то же легкое уважение к правдивости. Модели Фидия и Поликлета, Скопаса и Праксителя, несомненно, можно было найти в реальной жизни[2]; такими же были персонажи *Диалогов* Платона, и в этом состоял гений их искусства и литературы, в том, что они постигли и увековечили идеал, в то время как средний человек и среднее общество в Греции сформировали стандарт культурного общества, высокий уровень культуры. , но ни в коем случае не идеальный. Я упоминаю их средние качества только для того, чтобы подчеркнуть тот факт, что я стою перед вами не педантом, не видящим ничего, кроме величия своего любимого исследования, а простым человеком, оценивающим историю прошлого в свете здравого смысла.

Однако это нелегко, когда мы стоим лицом к лицу с замечательными достижениями этой бессмертной расы. Чего только не достигли греки на сцене мировой истории с тех пор, как они приняли наследие более древних и богатых цивилизаций? Сначала они доминировали и настолько поглотили ранее существовавшее население, что чувствовали себя единственными владельцами страны. Некоторые из них даже хвастались, не вызывая никаких споров, что они коренные жители этой земли. Затем они распространились по всему средиземноморскому побережью, начиная с Малой Азии, где столкнулись с последовательно сменявшимися друг друга империями Месопотамии. Они отправились в Италию и Сицилию, которые стали греческими землями, насколько они были цивилизованными, а затем успешно сопротивлялись огромным усилиям Персидской империи сделать их подчиненной провинцией. Даже их азиатские братья, которые действительно находились под персидским владычеством на протяжении нескольких поколений, никогда не теряли своей национальности, и нельзя сказать, что они восстановили ее снова, когда Персидская империя попала под власть Македонии. Когда эллинская национальность стала доминировать в царствах Македонии, Ближней Азии и Египта, и даже когда пришли римляне, которые относились к ней сначала с уважением, а затем с презрением, эти высокомерные завоеватели так и не смогли избавиться от духовного господства греческой литературы, греческой философии, греческого искусства и греческой вежливости. Более того, греческое влияние было настолько непреходящим, что оно привело к проведению новой пограничной линии между Востоком и Западом и основанию на старой греческой Византии новой столицы, где эллинская утонченность и эллинское искусство все еще были для всего более грубого западного мира вершиной достоинства и великолепия. Даже когда это великолепие было разграблено варварами-крестоносцами, а затем и менее варварскими турками, горстка ученых греков-беглецов с их бессмертным литературным наследием зажгла интеллектуальный огонь в Западной Европе, который с тех пор никогда не угасал.

Это последнее великое пробуждение с помощью греков, я думаю, особенно поучительно для нас сегодня. Ибо ничто не может показать более четко и на более масштабном примере, насколько эффект от получения знаний из вторых рук или традиционных знаний отличается от эффекта прямого контакта с оригиналами. Несомненно, в поздней Римской империи и в раннем Средневековье считалось, что все ценности эллинской культуры перешли в римскую жизнь, что римское право, римская архитектура, римская организация были намного совершеннее, чем у их учителей. Даже последний расцвет греческой архитектуры, тот византийский стиль, который все еще живет в неприступной Святой Софии Константинопольской, был перенесен в Италию,

Францию, Германию и Англию, где под названием украшенного Нормана он занимает почетное место в нашей церковной архитектуре. Собор Святого Марка в Венеции самый богатый, потому что это декадентский образец этого греческого стиля, и поэтому другие латинские адаптации греческого языка должны были обеспечить все преимущества оригиналов; более того, в одном случае — с латинской Вульгатой — святой Иероним зашел так далеко, что сравнил свою версию с греческим и еврейским оригиналами, написанными на каждой стороне, с Христом, распятым между двумя разбойниками. Там было множество греческих статуй и храмов, которые можно было скопировать. Аристотель, признанный величайшим и наиболее энциклопедичным из греческих философов, мог быть переведен на латынь и чудом избежал канонизации как латинский святой. Разве Вергилий не был гораздо глубже и художественнее Гомера? Не было ли *Dies iræ* намного величественнее по звучанию, равно как и по смыслу, чем банальности Горация или Овидия? Так западный мир стал латинским, и люди довольствовались отголосками греческого в своей римской культуре.

Но когда настоящее пришло к ним снова, как бы случайно, обратите внимание на внезапную и поразительную перемену. Сразу же было обнаружено, что романизированная культура предыдущих столетий выродилась из более благородных типов, что новые влияния с севера изменили архитектуру и искусство в их чистоте; что мрачное величие Данте, самый могущественный итог Средневековья, погасило жизнерадостность и свет греческой жизни, даже в том виде, в каком их понимал Вергилий, жестоким и безжалостным вероучением. С возвращением эллинского спокойствия, без сомнения, было связано много безбожия и язычества, но даже на этом этапе восстание против духовной тирании Римской Церкви не может вызывать сожаления у тех, кто отказывается верить, что людей можно удержать от преступления, только угрожая им еще большим преступлением — я имею в виду применение вечных пыток к любому разумному существу. Готический храм, без сомнения, был идеальным местом для поклонения безжалостному Богу и его измученному Христу; дворец эпохи Возрождения был местом света и радости, где люди могли с изумлением читать эпос Гомера, трагедию Эсхила, комедию Аристофана и узнавать из них, чего некогда достигла человеческая культура.

И таким образом изучение греческого языка заняло свое место в качестве самой благородной части гуманитарного образования. Мы узнали и оценили греческие буквы так глубоко и основательно, как их никогда не знал ни один римлянин; мы проанализировали и поняли греческую логику и философию и, что еще более тонко, тонкости греческого искусства. Мы начали приумножать сокровища, обнаруженные для нас эпохой Возрождения, исследуя погребенные храмы в Греции и исследуя пески Египта в поисках новых текстов. Культуру девятнадцатого века справедливо можно назвать культурой, которая своим величием во многом обязана глубокому пониманию уникального совершенства классических греческих произведений. Никогда этот факт не производил на меня такого впечатления, как при посещении три или четыре года назад небольшой коллекции древнегреческих фрагментов, собранных у частных владельцев и выставленных Художественным клубом Берлингтона в Лондоне. Это были маленькие вещицы, бронзовые статуэтки, бюсты, украшения, вазы, но ни один разумный человек не мог избежать сильного и мгновенного убеждения, что все это, по сути, патрицианское искусство в высшем смысле этого слова. Во всей выставке не было ни одной плебейской нотки.

Поскольку это так, людям, воспитанным так, как я, казалось, что превосходство изучения греческого языка, особенно в воспитании подрастающего поколения, было фактом, который никто не мог оспорить.

Однако, как ни странно, за последние двадцать лет, и, возможно, из-за реакции американского влияния на Европу, прилив изменился, и на смену великому потоку греческих исследований приходит отлив. Высшее образование — раньше и действительно всегда в самом прямом смысле — привилегия аристократии, теперь должно стать правом демократии, у которой нет на это времени, и все мы, бедные и богатые, труженики ради своего хлеба и те, чей хлеб обеспечен, должны преследовать те же цели и достигать того же уровня развития. Нужно ли мне добавлять, что область современной науки настолько расширилась, что требует высокого места в обучении тех, кто в настоящее время будет зарабатывать себе на жизнь некоторыми из ее применений? Таким образом, программа была расширена и диверсифицирована сверх возможностей любого учащегося, и мы начинаем думать, чем лучше всего пожертвовать, чтобы спасти остальное. Защитники современной науки, естественно, выступают против того, что им нравится называть мертвыми языками, и поэтому, поскольку греческий казался им более отдаленным из-за своего странного алфавита, они добились такого успеха, что избавили огромное количество школ от изучения этого языка. Даже в университетах Европы существует непреодолимая тенденция сделать это добровольным предметом изучения. Новаторы, большинство из которых в полном смысле слова не знают ни греческого, ни латыни, по-прежнему с большим уважением относятся к латыни и громко заявляют о ее важности даже в современном образовании. Но не обманывайтесь. Вскоре наступит день, когда такая же атака будет направлена против второго “мертвого языка”, как они его называют, и от нас будут ожидать, что мы выбросим на съедение волкам еще одного члена нашей духовной семьи. Ибо атака совершается при полном незнании относительной ценности затронутых тем. Любой, кто хоть немного разбирается в вопросе, прекрасно знает, что потеря латыни — ничто по сравнению с потерей греческого. Я не собираюсь обсуждать этот вопрос перед присутствующей аудиторией. Если по крайней мере три четверти пользы, которую мы получаем от латыни, связано с тем, что латинская цивилизация основана на греческом, не бесконечно ли лучше изучать великий оригинал, чем любую копию, какой бы успешной она ни была? И это подводит нас к вопросу, ради которого я сделал очевидное отступление.

Совершенно отдельно от ученых (очень плебейский, но выразительный современный термин), которые утверждают, что латыни достаточно для изучения языка, грамматики или древней истории, мы слышим очень многих, как в Англии, так и в Америке, которые действительно любят более высокое воспитание, которые смутно чувствуют, что такое воспитание происходит от греческого, и которые жаждут получить от него то, чего им не хватает в современной утонченности. Но они стремятся делать это только через источники из вторых рук. Они прибегают к английским переводам и английским комментариям, а также к лекциям, подобным нынешним, чтобы заполнить пробел, который они ощущают в своем собственном раннем обучении. Я не стану отрицать, что современные переводы гораздо более точны, чем переводы более независимых подражателей, которые не побоялись раскрасить греческое искусство оттенками из своей собственной палитры. Я не буду отрицать, что мастерство фотографа воспроизвело для нас очертания зданий и статуй гораздо точнее, чем лучшие художники, хотя концепция Пестума Тернера (например) по-своему более правдива, чем все фотографии, когда-либо сделанные с изображением этого храма. Но это подводит меня к констатации несколько неуловимой истины, имеющей величайшее значение в данном контексте; отличный оригинал,

как правило, подвержен различным интерпретациям, тогда как копия, какой бы превосходной она ни была, редко дает нам больше одной; так что, хотя первая в высшей степени наводит на размышления, вторая ограничивает нашу оценку. Копия копии, с юридической точки зрения ничего не стоящая, такова же и в вопросах искусства. В каждой репродукции что-то теряется, и помните, что чем тщательнее копирование, тем более рабской может быть работа. Я знаю, что есть такие вещи, как копии, превосходящие свои оригиналы. Это верно для Евангелий в нашей английской Библии; это также верно для тех частей *Георгики* Вергилия, которые переведены с аратовского. Но эти редкие исключения не отменяют общей истинности провозглашенного мной принципа. И когда даже Вергилию, вероятно, самому компетентному переводчику из когда-либо живших, пришлось иметь дело с таким мастером, как Феокрит, какой ничтожный результат! Я могу с уверенностью сказать, что если бы мы не знали Феокрита, кроме Virgil's *Eclogues*, он никогда бы не занял у нас место более чем третьесортного поэта.,,

Простой вывод таков: доберитесь до оригиналов любой ценой. Не удовлетворяйтесь эссе, диссертациями или комментариями. Идите и посмотрите на оригиналы, раскройте секреты языка, на котором они были впервые представлены, и тогда перед вами откроется такой же Ренессанс, какой озарял изумленных гуманистов 15 века. Основная польза такой лекции, как та, которую я сейчас читаю, заключается в том, что вы должны быть недовольны ею и должны желать перейти от иллюстрации, комментария, оценки к непосредственному изучению великих оригиналов. Такой курс действительно может оказаться непрактичным для многих из вас, кто в среднем возрасте не может отказаться от труда овладения другим языком; ибо овладение языком - это всегда трудная задача, и тем более по мере того, как мы становимся старше. Но если мы сами не можем учиться, то это поколение должно, по крайней мере, стимулировать и направлять следующее. Ибо я боюсь, что нынешнее знание греческого языка в этой стране ограничено небольшим меньшинством, в то время как все еще есть подавляющее большинство, у которых есть определенные амбиции по-настоящему совершенствоваться. Я помню, как несколько лет назад взялся преподавать в Шатокуа "*Алкестида*" Еврипида. Трудности, с которыми Констоял передо мной было то, что результат греческих текстов играть не были представлены, и что даже в Нью-Йорке они не были обнаружены без поиска и задержек. Греческие шедевры действительно обладают тем же качеством, что и другие образцы совершенного искусства, что даже копия достойна того, чтобы ее иметь, и поэтому многими превосходными переводами с греческого, которые есть во всех ваших библиотеках, ни в коем случае нельзя пренебрегать. Но если вы сможете добраться до оригиналов и освоить их, переводы, даже если они помогли вам в этой задаче, потеряют всю свою ценность. Я помню, что видел в библиотеке мистера Гладстона в Хавардене целый раздел его огромного хранилища книг, посвященный переводам "*Илиады*" на многие языки. Были десятки, возможно, сотни версий на английском, французском, немецком, итальянском, испанском, датском, норвежском, русском, хиндустани и многих других языках, присланных ему переводчиками в знак уважения к его собственным исследованиям Гомера. Я спросил его, открывал ли он когда-нибудь что-нибудь из них? Он ответил: "Нет; все свободное время я посвящаю изучению великих оригиналов". Но была ли когда-нибудь более ясная демонстрация величия литературного шедевра, чем эти мириады переводов? Даже когда на их родном языке уже опубликовано множество превосходных версий, люди не будут удовлетворены этими усилиями, но когда-нибудь снова попытаются выполнить увлекательную, нескончаемую и неубедительную задачу. Вы могли бы сказать, не зная ни одного языка, кроме английского, что есть четыре величайших стихотворения, которые завораживают людей так, что они никогда не стареют. Это

Илиада Гомера, *Агамемнон* Эсхила, *Ад* Данте, *Фауст* Гете. Два из них - греческие; но обратите также внимание, что, хотя мы могли бы найти в греческом языке несколько соперников^[3] которые едва ли менее важны и написаны разными поэтами, ни в немецком, ни в итальянском нет ни одного стихотворения, которое могло бы хоть на мгновение сравниться с лучшими произведениями, которые я назвал. Греки настолько выдающиеся в литературе. Другое их искусство сохранилось лишь в руинах или фрагментах. Но спросите любого настоящего специалиста, такого как покойный мистер Пенроуз или доктор Дерпфельд, какое место среди зданий мира занимает лучшая греческая архитектура, и он скажет вам, что никогда больше не будет построено ничего, равного афинскому Парфенону. Огромный храм в Карнаке в Египте, чудесная церковь Юстиниана в Константинополе, прекрасный Реймский собор, вероятно, являются лучшими образцами совершенства строительства, которыми мы располагаем, однако Парфенон, с его кажущейся простотой, демонстрирует тонкую глубину художественного познания, которая дает нам право называть его прекраснейшим из земных зданий. Нужно ли мне сказать здесь хоть слово о превосходстве греков в других искусствах, учитывая, что подробности должны стать темой последующих лекций?

Опасность, которую я вижу перед этим поколением, заключается в том, что она незаметно обрушилась на римский мир и привела к упадку, который не был остановлен до тех пор, пока не погрузился в ночь темных веков. Более поздняя империя довольствовалась тем, что брала греческое искусство и греческую письменность из вторых рук и заменяла латинскую культуру образцами, по которым воспитывались их величайшие мастера. Но, как я уже говорил вам, срок службы копии не соответствовал сроку службы оригинала. Так и мы, со всей нашей наукой, с нашим приумножением материальных знаний и нашей беспокойной беготней туда-сюда, можем погрузиться в уродливое, заурадное, безрадостное скопление обществ, для которых новые открытия предоставляют множество новых удобств, но не возвращают к счастью и удовлетворенности более простого века. Наука может восполнить врожденные дефекты наших слепых беззубых детей, и без нее мы действительно оказались бы выброшенными на рифы отчаяния. Но счастье не в этом, нет, ни в моторах, ни в турбинах, ни в радиосообщениях по всему миру, ни в ежедневных газетах, полных неразрывных фактов и лжи.

Я не могу поверить, что цивилизованный мир останется доволен этой мрачной перспективой — монополией этих фабрик материальных открытий, где печи и электрический свет заменяют великолепные лучи Бога Солнца, которому поклонялись греки. Как правило, наша раса в целом обладала огромной способностью к восстановлению; и за периодами упадка следовали периоды не только возрождения, но и омоложения. Во все эпохи, когда мир становился скучным и унылым, а времена расходились, у нас была мистическая тенденция, склонность отмахиваться от человеческих радостей и забот и сосредоточивать ум на Вечном, на невыразимых радостях общения с Духом Вселенной. То, что эта тенденция жива даже в современной Америке, не может не быть очевидным для тех, кто изучал патологию так называемой христианской науки. Другая тенденция - гуманистическая, та, которая стремится вернуть нам радости и красоту жизни, усиленные искусством и защищенные утонченностью здорового образования. Это был тот аспект человеческого счастья, который наиболее полно, насколько это вообще возможно в мире, представлен греками, и, следовательно, тщательное и детальное изучение их жизни всегда должно привлекать тех, кто желает эстетического реформирования современного общества. Снова и снова греки оказывали это огромное и благотворное влияние; тщетно ли надеяться, что оно все еще не исчерпано и способно излечивать болезни человека? Возможно, пророчество нашего великого и самого эллинского

из поэтов еще может сбыться, причем исполнение будет шире и глубже, чем могло охватить даже его обширное видение:

Более яркая Эллада воздвигает свои горы из более безмятежных далей;
Новый Пеней закатывает свои фонтаны против утренней звезды.
Там, где цветут более светлые Температуры, там спят
Молодые циклады на более солнечной глубине!

II

ГРЕЧЕСКАЯ ПОЭЗИЯ

Выступая перед вами сегодня с докладом о влиянии греческой поэзии на современный мир, я ощущаю особое преимущество, которое одновременно является и недостатком. Многие из вас наверняка знают, что два тома моей *Истории греческой литературы* посвящены греческой поэзии, и те из вас, кто их читал, должно быть, уже знакомы с моим описанием авторов и их произведений в деталях. Для таких из вас не может возникнуть никаких трудностей в том, чтобы следовать ходу настоящей лекции. Но, с другой стороны, мне трудно давать таким слушателям новый материал, учитывая, что я уже сделал все возможное в двух томах, чтобы удовлетворить их любопытство. Для тех, кто не знаком с предметом, есть недостаток в том, чтобы слушать человека, чья близость с предметом настолько давняя, что он может ссылаться на вещи столь очевидные, которые для его аудитории таковыми не являются, находясь за пределами их обычного чтения. Но, вполне возможно, я недооцениваю культуру этой *audi*, которая, как говорят, находится на совершенно ином уровне, чем у любой аналогичной аудитории в Англии. Если это так, то вы, как и все компетентные критики, в отличие от вульгарных и невежественных, оцените трудности моей задачи и будете судить о ней с должным учетом этих трудностей.

Очевидно, что сегодня мой первый долг - изложить вам *общие* черты греческой поэзии, которые сделали ее образцом для последующих эпох и народов. Затем я продолжу, со всеми подробностями, насколько позволит время, приводить примеры прямого или косвенного влияния греческой поэзии на поэзию англоязычных народов. Вы обнаружите, что черты, которые на самом деле являются наиболее важными, не являются очевидными чертами, и вряд ли мы могли бы назвать их, если бы говорили поспешно или наугад. Главное и наиболее примечательное, что присуще каждому греческому поэту от Гомера до Феокрита, заключается в том, что их творчество тщательно изучается, а ни в коем случае не является простым спонтанным излиянием человеческого сердца. “Я шепелявил в цифрах, потому что цифры пришли”, - с гордостью сказал один очень искусственный поэт. Греческому поэту ничто не показалось бы менее достойным этого. Он всегда презирал тех, кого мы называем необразованными гениями. Мы действительно слышим разговоры о божественном безумии и вдохновении Муз, но, насколько нам известно, они никогда не вдохновляли невежественного человека и никогда не учили образованного человека нарушать традиции своей школы. Это изученное произведение предстает перед нами в своей полной искусственности в гомеровских поэмах. Более чем сомнительно, говорили ли когда-либо на таком языке. Он полон странных форм, и смешанный диалект, иногда даже для нас неграмотный понятный, был диалектом,

изобретенным или усовершенствованным школой бардов, которые утверждали, что воспроизводят не обычную речь, а нечто гораздо более высокое и совершенное, что мог создать только образованный поэт. И когда я использую термин искусственный, который вошел в современный английский для обозначения чего-то противоположного естественному и, следовательно, неполноценного,^[4] Я должен сказать несколько слов в объяснение моего значения.

Достижение совершенного изображения природы - не настоящая область искусства, а представление совершенной природы. Например, чем больше развивалось искусство скульптуры в Греции, тем больше они достигали изображения естественной, но идеально красивой фигуры, такой как Гермес Праксителя. Итак, последний триумф великого актера - в совершенстве воспроизвести человеческую природу в ее общих чертах, если не в ее идеальных чертах, и поэтому философ в изумлении восклицает, глядя на пьесы Менандра: "О Менандр и человеческая жизнь, кто из вас скопировал другого?" Но если кто-то воображает, что искусство состоит всего лишь в фотографировании вульгарной повседневной жизни, он легко может впасть в абсурд. Все наши привычки, насколько они цивилизованны, отходят от простой природы и используют ухищрения, чтобы скрыть или улучшить ее. Если кто-нибудь из вас пришел сюда в чисто естественной одежде, представьте себе эту сцену! Я полагаю, что подобные вещи предпринимались в разгульном обществе Парижа в период расцвета великой революции, но даже тогда их одежда, хотя и уступала по количеству, была по качеству не менее искусственной, чем мнения тех, кто ее носил.

Из этих соображений следует, что греческая поэзия всегда развивалась в школах, обладающих устоявшимися традициями и следующих строгим законам как в отношении размера, так и в отношении дикции. Если бы какой-нибудь человек вздумал освободиться от этих ограничений и писать совершенно свободно и неконтролируемо, его бы не услышали в Греции. Такой феномен, например, как ваш Уолт Уитмен, был бы невозможен, или, по крайней мере, мы бы никогда о нем не услышали.

Совершенно верно, что это не исключает возникновения новых школ мысли и новых способов выражения. Когда эпическая поэзия была исчерпана, возникли новые виды поэзии; когда их оказалось недостаточно, продолжалось дальнейшее развитие, но все это следует объяснять соблюдением того или иного закона и традиции. Сначала я рассмотрю последний и, следовательно, наиболее очевидный случай. У Феокрита мы имеем дело с последним расцветом чистой греческой поэзии, буколическими сценами и пасторальным языком, которые долгое время считались простым отголоском первобытных пастухов, пасущих свои стада на возвышенностях Сицилии. Теперь мы знаем лучше. Феокрит был образованным человеком, полным литературной зависти, который писал в душной атмосфере Александрийского университета и при в высшей степени искусственном дворе второго Птолемея. Вероятно, он был так же далек от того, что мы называем простой человеческой натурой, как и любой современный американец. Но он был великим литературным художником, и он чувствовал, что, хотя все другие школы поэзии постепенно теряли связь с реальной жизнью и становились навязчиво искусственными и изношенными в глазах общественности, в пейзажах, резко контрастирующих с многолюдными песчаными холмами Александрии, все еще чувствовалась жилка народной песни, которая, при тонкой обработке, могла бы еще раз вызвать сочувствие усталого и декадентского общества. Несомненно, в Александрии было много педантов, которые презирали это возвращение к домашней и заурядной жизни с ее вульгарными страстями, точно

так же, как великие французские критики с презрением отвергали домашние сцены и персонажей в трагедиях Шекспира. Эксперимент, тем не менее, удался, и это насквозь искусственное, но художественное изображение горестей и радостей неграмотных крестьян в прекрасном размере и с тщательно подобранной свободой дикции очаровало греческий, затем римский мир и побудило эпоху Возрождения к аналогичным, но безуспешным попыткам. Это оказало свое влияние на английскую поэзию вплоть до творчества Теннисона, в котором больше следов влияния Феокрита, чем в творчестве любого другого греческого поэта. Секрет этого заключался в том, что, когда другие школы истощились, Феокрит вернулся к людям, нашел среди них грубые и простые песни, которые еще не были приняты ни одной школой или облечены в художественную форму, и возвел их из грубости природы в утонченность тонкого и ученого искусства.

Не был ли тот же процесс источником греческой драматической поэзии, хотя и в более раннюю и гораздо менее сознательную эпоху? Разве нам не говорили, что трагедия, как и комедия, возникла из грубых народных песен и грубых попыток актерского мастерства простых деревенских жителей? Трагедия Эсхила, нет, даже безупречная дикция и размер Аристофана настолько далеки от популярной песни, насколько это возможно себе представить, но и они с поразительной быстротой возникли и созрели из грубых эссе необразованных крестьян, чьи усилия были совершенно не достойны внимания цивилизованного общества.

Увы, мы ничего не знаем! о колыбелях лирической поэзии Архилоха, Алкея, Сафо; мы ничего не можем сказать вам о *инкунабулах* того великого и разнообразного развития, которое охватывало несколько школ. На всей поверхности этих первозданных вод, которые покрывают мир греческой литературы вплоть до VII века до нашей эры, у нас есть только один великий одинокий маяк - поэзия Гомера, которая говорит нам, подобно нантакетскому маяку, что мы далеки, и все же недалеко, от высказываний литературной эпохи:

Как высокий корабль, который много тоскливых лет
Пристает к какой-нибудь унылой песчаной отмели далеко в море,
Все долгие часы кромешной тьмы
Ливни бросают косой свет на скорбную волну!

Но скудные лирические фрагменты ясно говорят нам о многом: эти поэты были всесторонне и даже изощренно артистичны, и их очень тщательное мастерство, если оно действительно проистекало из обращения к народным песням, демонстрирует ту же самую тщательную заботу, которую мы находим у Феокрита, об очищении своего искусства от глины или отбросов повседневного языка. Отсюда естественным следствием у такого гениального народа, как греки, является совершенство как в форме, так и в духе, которое мы по праву называем классическим и которое служит образцом почти для всей последующей поэзии. В нем нет ни капризов метра, ни дикции, ни преувеличения чувств. Каждый цивилизованный человек любой эпохи, каждый здравомыслящий критик, владеющий поэзией в оригинале, находит в ней образцы вкуса, которые с тех пор не были превзойдены и лишь изредка находят себе равных.

Мне нет необходимости долго останавливаться на нескольких кажущихся или реальных исключениях, настолько незначительных, что их достаточно только для придираков, а не для серьезной критики. Недавно мы нашли "*Персов*" Тимофея, музыкальные выступления которого были очень популярны в его время. Это стихотворение - худшее, что мы знаем, исходя из его

эпохи и страны. Но мы также знаем, что нам следует рассматривать это просто как либретто музыкального представления, такого как либретто итальянских опер, которые мы часто ставили в юности, в которых текст не имел ни малейшего значения и, как правило, был очень плохим. Музыка была единственной частью спектакля, которую мы раскритиковали. Таким образом, "Персы" Тимофея нелепы, как поэма о великой битве при Саламине, но даже в этом случае авторитеты в области метра, такие как Виламович, заявляют, что они очень осторожны и отточены в этом отношении. *Мимы* Херондаса, еще одно недавнее открытие, тоже плохая поэзия, но тогда это просто переложения прозаических произведений, такими, какими были произведения Софрона, и предназначались, я полагаю, для игры на дешевой сцене или для драматической декламации. Вряд ли их можно назвать поэзией. В гораздо более ранние времена существовало много скучных моральных наставлений и пресловутой философии, выраженной в стихах. Но и это было так, потому что проза еще не стала обычным средством письма, и любой человек, желающий учить, такой как Солон, Феогнид или Эмпедокл, должен был выражать себя стихами.

Я упомяну лишь еще об одной особенности, в которой греческая поэзия имела очевидное преимущество перед современным искусством того же рода. Будучи почти полностью написанной не для чтения, а для слушающей публики, она была тесно связана с другими видами искусства, особенно с музыкой и танцами, так что являлась неотъемлемой частью многих больших публичных фестивалей. Это была душа, которая оживляла каждый национальный конкурс красоты. Если в наши дни поэта-лауреата просят отпраздновать большое общественное событие стихотворением, он пишет оду или элегию, такую как "Похороны великого герцога с плачем нации" Теннисона, и рассылает ее бесчисленному количеству читателей. Греческий поэт в подобных случаях устраивал торжественное шествие, или танец, или сценическое представление с соответствующей музыкой в помощь себе. Эта среда обеспечивала два великих качества, или, скорее, имела тенденцию обеспечивать их, поскольку мы не должны предполагать совершенство как общий результат в любом человеческом продукте. Это гарантировало, что поэт будет стремиться к *достоинству*, избегая всех подлых и тривиальных тем. Это также обеспечило *краткость*, избегая дискурсивности, которая является недостатком большей части современной поэзии. Таким образом, *Экскурс* Вордсворта был бы невыносим для самого поэта, будь он греком, и, если привести более подходящую иллюстрацию, буйные и неограниченные припевы в "*Атланте*" мистера Суинберна — в противном случае великолепно отражении греческой трагедии — были бы недопустимы из-за их избыточности, но поэт сжал бы их в таких пределах, чтобы у его хора не перехватило дыхание и не закружилась голова у слушателей.

Создание стихов для местных и особых общественных мероприятий также было основной причиной использования различных диалектов, которые не становились национальным достоянием до тех пор, пока какая-нибудь великая работа не санкционировала их литературное использование. Таким образом, искусственный гомеровский диалект стал *языком общения* всех эпических поэтов, независимо от их страны или времени рождения, вплоть до конца древнегреческой истории. Дорические хоровые гимны были заимствованы в аттических трагедиях и вставлены в интермедии аттических диалогов. К счастью для нас, греки писали фонетически и не скрывали свою местную речь под покровом искусственной и ложной орфографии. Таким образом, поэзия нации дошла до нас на различных диалектах, но никогда, кроме как с намеренной драматической целью вульгарности,^[5] на простом языке простых людей.

Но теперь я должен оставить эти общие соображения и обратиться к задаче показать вам на некоторых известных примерах, как греческая поэзия, обладающая совершенством, необходимым для высокого образца, воздействовала на величайших и лучших из наших поэтов, а также на других в современной Европе.

Всем известно, что греки оставили нам три длинные эпические поэмы: одну — эпос о войне, вторую - эпос о путешествии, третью - эпос Аполлония Родия, эпос о приключениях в сочетании с великой историей любви. Существовало много других ранних эпических поэм, составленных в подражание *Илиаде* и *Одиссее*, но они были отложены в сторону и забыты, скорее всего, потому, что их материал был переработан греками в более благородную форму трагедии. Ибо, как вы знаете, греки, которые ограничивались мифическими сюжетами для своих трагедий, избегали *Илиады* и *Одиссеи* и использовали так называемых циклических поэтов. Будет банально сказать вам, что *Илиада* и *Одиссея* были недостижимыми идеалами на все последующие времена. Первым и величайшим иностранным подражателем был Вергилий, и благодаря его бессмертному эпосу, скорее косвенно, чем прямо, мир поэтов был поколеблен. Тем не менее весьма примечательно, что эти два шедевра, полностью созданные древним гением Греции, когда Афина во всеоружии выскочила из мозга Зевса, явившись, подобно Мелхиседеку, без отца, матери или происхождения, чтобы благословить отца верующих, никогда больше не были равны среди людей.

Лучшим эпосом современной Европы со времен классического Возрождения является "*Потерянный рай*" Мильтона. Он предоставил нам достаточно доказательств того, что был великим поэтом, и все же, как низко он опускается ниже *Илиады* и *Одиссеи*! Вряд ли мне нужно говорить вам, что споры, волновавшие его ум и умы его эпохи, нарушили безмятежность его поэтического видения и продиктовали ему множество отступлений, которые являются пятнами на чистоте его золотых страниц. Но, на мой взгляд, это не самый большой его недостаток. Действие богов, которое в "*Илиаде*" является всего лишь преамбулой к общему действию поэмы или несущественным эпизодом и едва ли затрагивает ее чисто человеческий характер, у поэта-богослова занимает слишком видное место. Она занимает в поэме Мильтона центральное место, по сравнению с которым эпизоды в Эдеме - сущая мелочь. Огромная часть поэмы - это не Рай, потерянный человеком, а небеса, потерянные падшими ангелами. Именно конфликт между богами и Титанами, как выразились бы греки, а не конфликты или смертные герои завораживают нас. По мере того, как мы проходим дальше, напрашивается еще одно замечание. Самая слабая книга во всей "*Илиаде*" - "*Битва богов*". Ее можно было бы легко вычеркнуть из поэмы без потерь. У Мильтона Божественное полностью перевешивает человеческое в величии и является сутью поэмы.

В этом эпосе есть еще одна черта, которая вызывает наше восхищение, — огромное богатство и даже избыточность заученных сравнений. В этом Милтон, по-видимому, взял за образец третий греческий эпос, ныне забытый, но имевший большую популярность в эпоху Возрождения, я имею в виду *Аргонавтику* Аполлония. Его прямые обязательства перед этим поэтом были отмечены во многих местах комментаторами. Я не сомневаюсь, что тщательное изучение выявило бы гораздо больше, и тем интереснее поразмыслить о том, как ныне забытый греческий источник оказал столь длительное влияние. Величайший вклад, который я знаю от Аполлония в современную поэзию, - это знаменитая сцена в начале "*Фауста*" Гете, где уставший от мира философ решает выпить чашу с ядом, но внезапно возвращается к жизни пасхальным рассветом с его гимном Воскрешения. Вам достаточно прочесть сцену, где Медея,

раздираемая тем, что она считает безнадежной страстью, в конце ночи бессонных мучений прибегает к тому же средству спасения - чаше с ядом. Но с рассветом и пробуждением человеческой жизни мужские звуки воздействуют на ее встревоженный дух и заставляют ее отбросить свою страшную решимость. У нее также, как и у греческого поэта, концепция свежее и совершеннее. Именно молодость и здоровье Медеи, вино жизни, бурлящее в ее жилах, призывает ее вернуться из суицидального уныния, когда веселые звуки человеческой жизни озаряют рассвет. Воздействие пасхального гимна на Фауста, каким бы прекрасным оно ни было в наших христианских ассоциациях, не кажется таким естественным и поэтому имеет меньший масштаб, чем поэзия.

Но когда я начал с влияния греческого эпоса на формирование великого английского эпоса, который так упорно стремится принять другой тон, с другим сюжетом, я преуменьшил общее влияние греческой поэзии на Мильтона. В дни, предшествовавшие ему, мы можем предположить, что большинство английских поэтов знали свой греческий из вторых рук, по латинским копиям или по французским переводам. Бен Джонсон действительно, как нас заверили, знал греческий, а Чепмен в своем превосходном переводе познакомил английский мир с *"Илиадой"* Гомера. Легко недооценить это влияние из вторых рук и сказать, что, в конце концов, это была латынь, а не греческий. Нет ничего более вводящего в заблуждение. Поэт может чувствовать величие другого человека, даже если он не понимает его языка. Таким образом, Шекспир, чья драма в целом была явно вне всякого эллинского влияния стиля, как только он прочитал в переводе Норта *"Жизнеописания"* Плутарха, увидел в них сюжеты, подходящие для его бессмертных пьес. И не только в том, что касается сюжета, но и в том, что касается трактовки, он настолько близок к греческому мастеру биографии, что вы можете почувствовать глубокое уважение и восхищение, которые драматург испытывал к своему творчеству. Таким образом, *Антоний и Клеопатра*, если привести лишь один пример, пункт за пунктом повторяют знаменитое повествование Плутарха и ничего не добавляют к его картине. Влияние Плутарха на вождей Французской революции не менее примечательно и, я думаю, займет нас в другой связи. Но ведь эти люди за столетие до этого благодаря своей классической драме научились обращаться к грекам за возвышенными принципами и идеальными характерами. Однако для моих целей более уместно привести современный пример. Никто ни на минуту не сказал бы, что греческий тон Китса был заимствован из латинских или французских версий. И все же он, похоже, никогда не знал греческого настолько, чтобы читать оригиналы, дух которых он уловил из отголосков классических словарей.

Но косвенные сведения о более ранних поэтах, такие, например, как случайная цитата Шекспиром слов Этеокла из пьесы Гаскойна, ничего не значат, когда мы переходим к Мильтону, который показывает, что он проникнут не только греческим эпосом, но и греческой драмой. И от Мильтона, как от великого мастера, исходит то совершенство поэтического стиля и метра, которое формировало всю английскую поэзию начиная с его времени. Мэтью Арнольд даже говорит о нем как о стоящем выше всех своих преемников в этом уникальном отличии. Но когда Арнольд сравнивает это превосходство с превосходством Вергилия, ему следовало бы добавить, что Вергилий также был обязан им грекам. Я также не нахожу в *"Энеиде"* Вергилия ничего похожего на знакомство с греческой трагедией, которое я нахожу у Мильтона. Таким образом, вся ситуация на открытии *"Потерянного рая"* обязана не Гомеру, а скорее *Победоносному Прометею* Эсхила, где Титан, побежденный и прикованный к горе Кавказ превосходящей мощью Зевса, тем не менее, демонстрирует свой неустрашимый дух; и, конечно, эта борьба между богами и титанами, которая так часто встречается в греческой

мифологии, а следовательно, и в греческой поэзии, постоянно присутствует у Мильтона и наводит его на сравнения и метафоры на протяжении всей его поэмы.

Но зачем задерживаться на этих отрывочных намеках, смешанных с намеками на другие легендарные циклы, все они были схвачены его обширной эрудицией? Рассмотрим *Самсона Агониста*. Здесь мы видим, как поэт намеренно возвращается к строго греческой форме и даже в своем примечательном предисловии к пьесе защищает драматическую поэзию от возражений пуритан, апеллируя к Эсхилу, Софоклу и Еврипиду, “трем трагическим поэтам, - говорит он, - которым нет равных, и это лучшее правило для всех, кто пытается написать трагедию”. Удивляешься, если учесть, что до него был Шекспир, о котором он с восхищением упоминает в другом месте. Но в том же самом предисловии ясно говорится, почему он не уступил трагедии Шекспира того ранга, который он присваивает греческим мастерам. Он говорит, что трагедия приобрела “низкую оценку или, скорее, позор, произошедший из-за ошибки поэта, смешавшего комизм с трагической печалью и серьезностью или представившего тривиальных и вульгарных персонажей, что всеми здравомыслящими людьми было сочтено абсурдным”. Поэтому он придерживался точь-в-точь точки зрения Вольтера, которого шокировали могильщик в “*Гамлете*” и пьяный привратник в “*Макбете*”. Такова же была точка зрения великого французского современника Мильтона Расина, который считал, что сочинял свои пьесы в строжайшем соответствии с принципами древних. И все же школа Шекспира могла бы легко защититься, сославшись на практику тех самых мастеров, примеру которых им рекомендовали следовать. Во-первых, каждый греческий трагический поэт сочинял веселое послесловие, названное официальным хором сатиров сатирической драмой, и это следовало непосредственно за их трагедией. Во-вторых, даже в этом величайший мастер, Эсхил, не гнушается выводить на свою сцену “вульгарных и тривиальных персонажей”, таких как сторож на открытии “*Агамемнона*” и кормилица Килисса, которые смешивают комизм с трагической печалью пьесы и даже усиливают мрачность контрастом. Конечно, трагедия Еврипида, который сознательно стремился приблизить свою сцену к нашей обычной жизни, не могла не содержать таких отрывков, о чем прекрасно знает любой его ученик.

Однако, принимая во внимание собственный взгляд Мильтона на природу греческой трагедии, мы видим, что его “*Самсон Агонист*” не только построен на основе аттической пьесы, но и в каждой сцене, полной воспоминаний и аллюзий, демонстрирует близкое знакомство с трагической Тройкой. Начало, в котором слепой и измученный миром герой ищет покоя, взято из начала второго “*Эдипа*” Софокла. Как и вступление хора с их удивлением при виде печального зрелища, но вскоре они берут на себя почти ту же роль, что и океанские нимфы в “*Прометее*” Эсхила, и именно из этих двух пьес он позаимствовал наиболее свободно. В развитии нет никаких сомнений в том, что Еврипид был его настоящим мастером. Судебный элемент, если можно так выразиться, который был дорог афинянам; представление наглого великана; вероломной Далилы, которая выдвигала аргументы, которые должен был опровергнуть Самсон, и таким образом заполняла длинные сцены в пьесе, — все это в лучшей манере Еврипида. Как и вторжение отвлеченного вестника в конце, который рассказывает о катастрофе.

Но нигде глубокое понимание духа греческой трагедии, равно как и ее формы, не проявляется так ярко, как в припевах и лирических монодиях, которые являются прекраснейшими чертами пьесы. В уже цитированном предисловии он сообщает нам, что не соблюдал форму строфы и антистрофы, строго соответствующую, потому что это подразумевает музыкальное

сопровождение и исполнение в пении, которое было чуждо его цели. Еще меньше стал бы он связывать себя рифмой - оковами, неизвестными или, скорее, очень редкими в поэзии греков. Он пишет как лирические жалобы на Самсона, так и хоровые оды, являющиеся интерлюдиями к действию, в нерегулярном ритме, который мы вряд ли можем назвать метром, и которые, тем не менее, в самом строгом смысле являются возвышенной поэзией. Эти вещи не по вкусу обычному комментатору. Так, сэр Эджертон Бриджес в красивом и действительно ученом издании, украшенном рисунками Тернера, говорит в конце первого припева: "Хотя в этом припеве есть великолепные пассажи, я не могу полностью приспособить свой слух ни к ритму, ни к некоторым выражениям, которые, признаюсь, слишком похожи на прозу". Вам интересно знать, что Цицерон сказал почти то же самое о Пиндаре. Его тщательно продуманные размеры звучали для римлянина как проза. Но для любого, кто близко знаком с греческими хорами, ничто никогда не было написано на английском языке, что так идеально воспроизводило бы их эффект. Мне нет нужды добавлять, что по существу эти оды, отчасти поэтические размышления общего характера, отчасти прямо связанные с действием пьесы, в точности соответствуют роли хора в греческой трагедии. Только в одном пункте мы можем сказать, что здесь Мильтону недостает той лирической сладости, которая отличает многие припевы Софокла и Еврипида, так что мы можем цитировать их как самостоятельные стихотворения. Вероятно, Мильтон считал свою тему слишком великой и мрачной для подобных поэтических отступлений. Ибо, когда он решил подарить нам лирическую сладость, что может превзойти его *Комус*? И я не знаю ничего лучше греческого, чем прекрасную, хотя и заученную лирическую поэзию к концу этой бессмертной маски.

Теперь я перехожу от отца английской классической поэзии к более поздним, но не более разнообразным проявлениям греческого влияния. Самым замечательным произведением начала восемнадцатого века, взявшим штурмом всю Англию, был перевод "*Илиады*" Поупа. Книга Чепмена уже была там, очень достойная работа, и теперь ее оценивают более высоко, чем ее преемника. Но во времена Поупа стиль имел первостепенное значение. "*Илиада*" должна читаться как великая английская поэма, и перед нами Гомер, одетый в костюм восемнадцатого века, точно так же, как мальчики, игравшие Теренса в Вестминстере, изображали его в париках, пудре и заплатах. Критиковать перевод Поупа очень легко. Вся его позиция была похожа на позицию Ватто в "пейзаже"; его эпитеты, как правило, были неправильными, причем неправильными в принципе. "И сознательный поклонник благословляет полезный свет" - таково завершение сравнения. Итак, поклонник Гомера не был сознательным и не благословлял свет как полезный.^[6]

Таким образом, мы видим на бесценных ныне рисунках Парфенона Жака Керри — поскольку они были сделаны за несколько лет до катастрофы, — что он даже не смог скопировать работу Фидия, стоявшую перед ним, не перенеся стиль француза семнадцатого века. Все это верно и очевидно, и все же поэт, который, переводя другого, переделывает его по своему образцу, хотя он и неверен как переводчик, может быть гораздо более великим как поэт. С тех пор как Поуп познакомил меня с Гомером, более пятидесяти лет назад, я чувствовал, что, при всех своих анахронизмах, поэма Поупа - величайшая и лучшая версия греческого мастера, подходящая для чтения тем, кто не может приблизиться к оригиналу. Ни один прозаический перевод, каким бы научным и точным он ни был, не может дать ни малейшего представления о размахе великого эпоса, и поэтому я чувствую, что влияние Гомера через Поупа было широким и длительным и что сами недостатки столь великолепного исполнения стимулировали часто возобновляемые попытки воспроизвести великий шедевр. Вергилий Драйдена, конечно, повел

общественный вкус в том же направлении, так что мы имеем эпоху, очень отличную от греческой по вкусам и совершенно ей не соответствующую, тем не менее, в которой доминировали, возможно, даже больше, чем люди тогда представляли, греческие классические модели.

Случай с лирической поэзией аналогичен. Поэты восемнадцатого века имели перед собой горацевские версии Алкея и Сафо, а также тексты Пиндара, который, как сказал им Гораций, был величайшим мастером из всех. Но как Горацию было трудно понять его, так и поэтам восемнадцатого века он был понятен лишь смутно. Прежде всего, сама суть его изученного, осторожного и образованного гения была совершенно неправильно понята. Он был задуман как поэт, выходящий за рамки строгого искусства, опьяненный музой и изливающий поток великолепных мыслей, пренебрегая всеми оковами метра, что было столь очевидно в эолической школе. Таким образом, они стремились подражать его кажущейся порывистости и предполагаемым неправильностям его метра и создали много хороших стихотворений, действительно вдохновленных греческим, но совершенно чуждым их образцу. Величайшим из них был тот, кто знал оригиналы гораздо лучше остальных и приложил все усилия, чтобы овладеть ими с научной тщательностью. В лице Грея мы имеем поэта истинно греческого склада и духа, очень образованного, очень привередливого, очень строгого по форме, хотя форма эта богата и разнообразна и, на мой взгляд, вполне достойна сравнения с Симонидом или Бахилидом как по чистоте стиля, так и по великолепию дикции.

Превосходный американский критик (У. Л. Фелпс) очень ясно показал, как Грей, начавший с классического образования и сделавший псевдоклассического Драйдена своим образцом, тем не менее, в зрелом возрасте был сметен романтической волной, затопившей Англию, и которая заставила его предпочесть кельтские и национальные сюжеты тем, которые заимствованы из греческих и латинских традиций. Все это совершенно верно, но не менее верно и то, что никакая смена темы не могла изменить или испортить великолепную форму, чистую дикцию, тонкий вкус, которые Грей приобрел благодаря тщательному изучению греческих поэтов и которые столь же очевидны в его «Валлийском барде», как и в его «прогносте классической поэзии». Ни один английский поэт до сих пор не постиг подлинного величия Пиндара, даже Мильтон, и поэтому пиндаровы оды меньших людей, таких как Коули и Шенстоун, не сохранились в качестве популярных стихотворений, тогда как *"Ода святой Цецилии" Драйдена* и целый ряд стихотворений Грея ясно показывают, какую непревзойденную подготовку греческая поэзия дает современному поэту, каким бы ни был его предмет или школа.

На самом деле гораздо важнее и интереснее указать на эти косвенные влияния, чем акцентировать внимание на прямом заимствовании из греческого языка формы и дикции. Именно этот конфликт или противопоставление может быть проиллюстрировано в поэзии Байрона. Он был ведущим представителем романтической школы или моды, и все же всю свою жизнь любил и чтит классическое совершенство греков и нередко случайным отрывком доказывает, насколько скудны его познания даже в отрывках греческой поэзии.^[7] Политические обстоятельства современной Греции в начале девятнадцатого века, великая борьба населения против турецкой тирании — все это придавало романтический оттенок классическому вкусу, воспитанному высшими школами и колледжами по всей Европе; и поэтому восхищение древними греками в искусстве, политике и литературе было своего рода классическим оправданием для романтиков, возникших в результате реакции против фальшивой французской тирании. классицизм более раннего поколения. Байрон был первым,

кто включил реалии реальной Греции в свой интерес как простую рамку или воображаемое место действия классической поэзии. Ни один из поэтов восемнадцатого века или даже более ранних историков Греции не проявил ни малейшего любопытства к настоящей родине греческой литературы, настоящей колыбели, вскормившей всего этого непревзойденного гения.

Даже Грот и Терлуолл, спустя много времени после того, как поэты обнаружили, что вдохновение можно черпать в горах и фиордах Эллады, писали свои бессмертные истории, не испытывая ни малейшего чувства, что благодаря знакомству с местностью они приобрели бы новый и живой вкус. Ибо у них были и средства, и досуг для путешествий, и все же они не искали никакой помощи, кроме книг в своих библиотеках. Но Байрон привнес в поэзию, по крайней мере, тот реализм в отношении Греции, который сделал изучение греческого языка и Греции из первых рук желанием поэтов и художников. Я говорил о Китсе, у которого не было таких возможностей. В Шелли мы видим то идеальное сочетание романтического воображения с глубокой греческой культурой, которое делает его величайшим и, вероятно, самым долговечным из той плеяды, которая осветила начало девятнадцатого века. Наименее греческим из всех был Вордсворт, и я осмелюсь сказать, что если бы он изучал греческую поэзию, это научило бы его существенным отличиям, которые отделяют ее от прозы — возвышенному стилю, отборной дикции, прежде всего, сжатию в строгих и умеренных рамках — и таким образом спасло бы и нас, и его от уныния его прозаического экскурса. Пусть никто из вас не думает, что я недооцениваю его поэтическое творчество. Но в его высшие моменты именно сияние греческого великолепия, духовные уроки августейшего Платона озаряют его трезвый гений и на час переводят его в общество бессмертных.

Во второй половине девятнадцатого века мы видим сильное желание воспроизвести греческие шедевры не только у людей, которые были поэтами того времени, таких как лорд Дерби или мисс Суонвик, но и у мастеров, которые уже доказали свое величие английскому миру. Роберт Браунинг предоставил нам версии нескольких пьес: *"Агамемнон"*, *"Безумный Геракл"*, *"Алкестида"*. В последнем он делает упор скорее на психологический настрой Еврипида, на рисунок его характера, чем на лирические фрагменты, которые не воспроизведены в лирическом размере. Но насколько легко ему это удавалось, он доказал мне, когда я попросил его исполнить знаменитую оду поэта в форме, приближенной к оригиналу. Написав в Лондон из Дублина в понедельник, я получил его версию в среду вечером. Оригинальную рукопись я отдал американскому другу, который ею дорожит; слова приводятся в моей небольшой монографии о Еврипиде, опубликованной много лет назад.

Суинберн и Мэтью Арнольд не переводили древнегреческие драмы, но сочиняли пьесы по этому образцу. Интеллигентному читателю, не знающему греческого, я не знаю лучшего подхода, чем прочитать *"Атланту"* или *"Эрехтея"* Суинберна, или, если он предпочитает это, *"Меропу"* Арнольда, которая не такая великая поэма, как любая из других, но столь же верное зеркало греческого ума; ибо буйство припевов Суинберна, безудержный буйный порыв его возмущения провидением Богов, может быть, и великолепная поэзия — они чужды грекам. целомудренная и умеренная дикция, характерная почти для всей греческой литературы. Если и есть великое исключение, то это *"Мрачное величие Эсхила"*, и, соответственно, ни одна пьеса не ставилась так часто на английском языке, как *"Агамемнон"*.^[8]

Когда мы переходим от этого сильного влияния греческой драмы к лирическим фрагментам или идиллиям и любовным историям наших современных поэтов, я сталкиваюсь со старым утверждением педантов, что грекам не доставало той любви и сочувствия к природе, которые являются прерогативой романтической школы. Я не вижу такого контраста между классикой и романтикой. Грей, самый классический из наших лириков, был первым, кто настаивал на необходимости поэту освежать свою душу дикой красотой горных пейзажей. Если бы у нас было больше фотографий Сафо, мы бы обнаружили, что она тоже была романтична в этом, как и во всех других разумных смыслах этого слова. Последний найденный фрагмент, предсказывающий, что ее подруга будет сиять в Сардах, как луна среди звезд летней ночью, рисует великолепие такой ночи яркими красками истинного поэта природы. В Феокрите, в Аполлонии есть достаточно свидетельств восхищения видами, и еще больше звуками природы, и поэтому самый классический из наших современных лирических поэтов, Теннисон, демонстрирует большую близость с Феокритом и заимствует не только его образы, но еще больше его интонацию у этого восхитительного оригинала. Такие изображения , как

Сон, который мягче ложится на душу,
Чем усталые веки на усталые глаза,

и снова,

Стон голубей в вековых вязах,
И жужжание бесчисленных пчел,

являются если и не переведенными из Феокрита, то, несомненно, предложенными им самим. Более явное заимствование из греческого можно найти в сравнении бицепсов сильного мужчины с течением воды по камню, которая не разбивает его:

И обнажил узловатую колонну его шеи,
массивную квадратную героическую грудь
И руки, на которых бугрились мускулы,
Похожие на склоны бурного ручья с небольшим камнем,
Бегущего слишком яростно, чтобы разбиться об него.

Но на каждой странице этого поэта, которая не просто знакома с домашней жизнью, я чувствую в великолепии его стиля отголосок греческого творчества, и я хорошо представляю, как Еврипид наслаждался бы строками:

Его честь, основанная на бесчестии, устояла,
А неверная вера сохранила его ложную верность.

Влияние греческой комедии слишком сложно, чтобы обсуждать его в конце этого рассуждения. Ибо величайший из греческих мастеров, Аристофан, обладает настолько ярко выраженными аттическими качествами, что мы могли бы с таким же успехом попытаться подражать творчеству Фидия. Но его благородный преемник Менандр стал, благодаря версиям Плавта и Теренция, отцом благородной комедии в Европе. Его экстравагантно восхваляли и он был популярен в

декадентской Греции. Я, например, не могу утверждать, что его наследие занимает высокое место среди бесценных сокровищ, завещанных нам его народом. Но о его влиянии не может быть и речи.^[9]

Мне остается сказать несколько слов тем, кто спрашивает, насколько эта великая поэзия греков была сведена к теории среди народа, который любил все сводить к теории. Кульминация этой тенденции проявляется в работах Аристотеля, как мы увидим в другой связи, и Аристотель либо написал, либо заставил быть написанным среди своих разнообразных трактатов, эссе под названием "*Поэтический*", которое в основном, насколько мы знаем, представляет собой анализ значения трагической поэзии. Без сомнения, в этом трактате есть несколько очень важных высказываний, в частности знаменитое определение трагедии, которому посвящено так много томов. Но, в целом, я не знаю более бедного и скучного изложения великого предмета, настолько, что я не могу не подозревать, что это одно из многих отдаленных исследований, которые он доверил своим ученикам. Вот критика, против которой я возражаю как недостойной Аристотеля: в "*Ифигении в Авлиде*" Еврипид дал нам один особый тип в своей замечательной галерее героинь, каждая из которых сталкивается со смертью ради реального или предполагаемого общественного блага, добровольно или по принуждению трусливых или жестоких правителей. Эта Ифигения - юное, свежее создание, только что вступившее в жизнь, и она слышит первые известия о своей участи со взрывом страстных слез и мольбы опротестовать жестокий приговор. И все же вскоре, когда она понимает, что ее судьба предрешена, она смиряется с великолепным достоинством прирожденной благородной женщины и тем самым значительно усиливает "жалость и ужас" трагедии.

Автор *Стихотворения* говорит, что персонаж нарисован не последовательно и, следовательно, ошибочен. Какое презренное суждение! Этому может соответствовать только замечание никчемного педанта, который говорит нам в своей *схолии*, что Медею Еврипида не следовало проливать слезы над своими детьми, поскольку у нее был жесткий характер, и она собиралась их убить. Итак, этот Аристотель снова говорит, что поэзия существенно отличается от прозы, и приводит в качестве примера, что труд Геродота не перестал бы быть историей, даже если бы он был облечен в метрическую форму. Это наблюдение упускает из виду более глубокое различие поэтической и прозаической мысли, которое не зависит от метрической формы. У Геродота есть много отрывков, которые, несмотря на их прозаическую форму, по сути своей являются поэзией, как мы увидим в следующей лекции.

Надеюсь, эти критические замечания утешат вас, если я добавлю, что у меня не осталось времени для всестороннего рассмотрения *поэтического*. Тем, кто проделывает великую работу, не всегда дано рассказать, как они это делали. Даже среди греков бытовала теория, согласно которой поэт страдал от того божественного безумия, которое мы называем вдохновением, и не осознавал всей силы того, что Муза говорила его устами. Я уже говорил вам, что это вдохновение не обошлось без тщательной подготовки, без тщательно продуманного метрического совершенства. Мы лишь недавно узнали от *персов* Тимофея, что это метрическое совершенство может также использоваться для передачи самых нелепых представлений.

Поэтому давайте с благодарностью воспользуемся отпущенным нам Временем и не будем беспокоить себя и омрачать наше удовольствие применением бесплодных теорий. От Гомера до *Антологии*, вы можете найти великие стихи и великолепные фрагменты, которые вознесут вас в высший мир, предназначенный для тех, кто может отбросить материальные заботы. Там вы

приумножите богатство своих душ; там вы приобщитесь к наследию, оставленному вам теми, кто достиг идеала, к которому стремится вся наша любовь к красоте как к своей цели. Но позвольте мне повторить тем, кто не может почерпнуть эту поэзию из первоисточника: черпайте ее из сосудов английских поэтов, которые у вас под рукой, а не из вымученной прозы современного ученого. Возьмите "Феокрита" Калверли; возьмите "Еврипида" Браунинга; возьмите Софокла Уайтлоу; возьмите Аристофана Фрера. Так вы сможете достичь не настоящего святилища, а, подобно какому-нибудь прозелиту древности, внешнего двора несравненного Храма.

III

ГРЕЧЕСКАЯ ПРОЗА

Я ПОЛАГАЮ, обычный критик, рассматривая рассматриваемую нами великую тему, вряд ли счел бы сегодняшнее название достаточно важным, чтобы занять бостонскую аудиторию, и все же следует показать, что в прозе, как и в поэзии, греки были учителями цивилизованной Европы. Вероятно, тема также вызовет у вас такой интерес, что она совсем не так очевидна, как в предыдущей лекции. Все знают о греческих поэтах; многие из них являются достоянием современного мира. Но происхождение и развитие греческой прозы изучено не так широко, и ее далеко идущее влияние не так широко понимается. Более того, мы знаем кое-что больше о ранних этапах его истории, и хотя он также удивляет нас своим абсолютным совершенством у наших ранних авторов и, кажется, исходит из мозга бога во всеоружии, как поэзия Гомера, все же у нас *есть* некоторые следы более ранних усилий; у нас есть некоторое представление о том, что было до Геродота, больше, чем о том, что было до Гомера. В основном это связано с поздним возникновением прозаического письма у греков. Поначалу стихотворная форма была универсальной для записи всех интересующих тем. Даже генеалогии были составлены гекзаметрами. Вся вошедшая в поговорку мудрость Семи мудрецов была выражена в метрической форме. Солон, величайший из этих мудрецов, даже проповедует свою политику и дает нам свою автобиографию в элегическом стиле. Кажется, мы прошли долгий путь от эпохи, когда такой человек, как мистер Гладстон или мистер Рузвельт, обращался к Сенату или народу в стихах; и все же, несмотря на все это, Солон был законодателем, вероятно, таким же великим, как любой из них, и к тому же очень современным человеком, гораздо более современным по тону и духу, чем мистер Гладстон. Я также не уверен, что мистеру Рузвельту не понравилось бы составлять свои послания к Сенату в стихах; еще меньше я должен утверждать, что германский император не стал бы упиваться героическими стихами как надлежащим средством обращения к своим подданным.

Я отмечаю это, чтобы донести до вас тот факт, что на позднем этапе духовной истории Греции величайшие люди и их аудитория оставались довольны рамками метра, поскольку передавали серьезное учение в более постоянной и популярной форме, чем проза. Ибо, конечно, на заре общества, когда еще не было письменных свидетельств, люди имели обыкновение облекать свои легенды и сказки в такую форму, поскольку это здорово помогало памяти, и этому можно было легко научить детей, которые запоминали звучание задолго до того, как обращали внимание на смысл. Я не буду говорить о надписях в прозе, поскольку в ранние времена они не предназначались для создания произведений искусства, так же как и самые ранние письма, которые были просто сообщениями, переданными письменно.

Но в богатом обществе Ионии *была* предпринята ранняя попытка облечь мысль в художественную форму без оков метра, и это было произведение философа Гераклита. Позже я расскажу о его великой и содержательной теории; сейчас нас беспокоит то, что его малоизвестные афоризмы должны были поразить читателя как формой, так и содержанием.

По-видимому, у него был единственный предшественник в лице Ферецида Сиросского. Покорение Ионии персами и особенно падение Милета, по-видимому, положили конец этому раннему живописному письму и мышлению, пока оно не проснулось как научный проводник греческой школы Гиппократы, Отца медицины.

Именно на противоположном конце греческого мира, на дальнем западе, населенном в основном не ионийцами, а дорийцами, литературная проза положила новое начало, которое никакие политические перемены не смогли сокрушить, пока вся Греция не оказалась под иностранным господством. Первой из таких попыток было написание в Сиракузах трактата, обучающего граждан тому, как отстаивать свои интересы в суде. Это было время, когда революции в государстве и последовавшие за ними изменения собственности, вызванные конфискациями и изгнаниями, часто обращавшиеся вспять поворотом колеса фортуны, делали жизненно важным для каждого истца или ответчика иметь возможность доказать свою правоту присяжным путем убеждения. Эта школа, хотя и дорическая по происхождению, перешла в Аттику, породив там школу знаменитых ораторов, от Антифона до Демосфена, которые уделяли самое пристальное внимание форме своих речей и таким образом навсегда усовершенствовали красноречие адвокатов.

Резко контрастировало с этой школой показное красноречие, о котором Горгий упоминал как о самом раннем мастере, сделавшем элегантную композицию и великолепную подачу самоцелью, а в руках педагогов, называемых софистами, часто выбирал презренный или отталкивающий предмет, чтобы показать, что даже самое тривиальное дело способно прославиться искусством, точно так же, как Тенирс делает пивную и ее пьяных хамов достойными занять свое место среди сокровищ, украшающих большой особняк.

В этих столь противоположных стремлениях к осторожной речи было несколько общих моментов. В обоих случаях предмет был либо эфемерным, либо мог быть тривиальным; именно *лечение* представляло наибольший интерес и давало начало теориям и системам. Ни в том, ни в другом случае не было намерения наставлять или улучшать слушателя. В первом случае целью оратора было произвести убеждение на данный момент, в другом - вызвать восхищение моментом. В обоих случаях также, хотя и наиболее тщательно составленное, письменное слово было полностью подчинено произносимому звуку. Когда эти исследования только зарождались, еще не было читающей публики, которая не собирала бы книги и не изучала их дома; но публика очень любила поговорить и послушать блестящие выступления.

В греческой жизни были и другие случаи и интересы, когда *тема* имела такое первостепенное значение, что долгое время к стилю относились с подозрением, поскольку он придавал оттенок нереальности заявлениям оратора или писателя. Одним из них был рассказ о тех событиях, которые произошли в прошлом; другим были серьезные размышления государственных деятелей о будущем государства, вопросах правосудия и политики в обращении с гражданами или в отношениях с соседними державами. Более ранние лидеры Греции, такие как Аристид, Фемистокл, Перикл и честлюбивые люди, сделавшие себя тиранами, все, должно быть, с должной тщательностью изучали искусство убеждения, но на протяжении нескольких

поколений профессиональному оратору, такому как Демосфен, не доверяли управлять государственными делами, и слова "оратор" и "политик" стали означать одно и то же. Тем не менее, даже здесь тенденция греческого сознания подчинять все закону и обучению, превращать любой вид человеческой работы в искусство была настолько сильной, что ни один вид прозаического письма не избежал этой школы, и все это демонстрирует строгость риторической формы, которая при первом изучении кажется искусственной, пока мы не узнаем, что высшие произведения человеческого искусства не являются спонтанными, а результатом тщательного размышления.

В то время как эти различные попытки овладеть устным красноречием занимали людей, мы обнаруживаем, что ранние летописцы излагали события прошлого либо в грубой метрической форме, либо даже в прозе, закладывая таким образом основу для величайшего развития прозы. Я имею в виду историю не просто как летопись прошлых событий, но как художественное произведение, на том же уровне, что драматическая поэзия или фресковая живопись.^[10] Более ранние попытки известны нам только по именам и обрывкам записей; сейчас мы не можем сказать, насколько Гекатей и Ксанф лидийский были историками в художественном смысле; но нет никаких сомнений в том, что в лице Геродота греки дали не только древнему, но и современному миру образец *искусства* истории, который никогда не был превзойден. И как будто этого было недостаточно, у Фукидида мы имеем другую модель (которая исповедует не очарование художественного повествования, а строгий анализ положительных фактов), и в этой модели, которая навязалась сама по себе или навязывалась поколениям историков, мы имеем еще один образец использования прозы, который также является высшей моделью так называемой *науки* истории. Этот последний пример тем более примечателен, что автор, подобно Геродоту, выбрал не великую мировую тему, а долгую и скучную гражданскую войну, в которой на карту не были поставлены никакие гигантские интересы, и все же благодаря его непревзойденному искусству, его глубокой серьезности небольшие стычки, в которых участвовало несколько сотен человек, стали нарицательными в современной жизни, в то время как в других местах многие потрясения мириадами канули в лету. Таким образом, небольшие действия афинянина Формио на его хорошо обученных лодках против превосходящих сил противника породили гораздо большую литературу, чем великие мировые сражения при Акцииуме или Лепанто в тех же морях. Не было Фукидида, который писал бы об этих последних.

Поскольку я думаю, что легче произвести впечатление на современную аудиторию важностью стиля греческой прозы в этой конкретной области ее совершенства, я поставлю его на первое место. Ничто не поражает читателя *поэтических* трудов Аристотеля (или так называемого трактата) большей некомпетентностью, чем иллюстрация, которую автор использует, чтобы показать, что драматическая поэзия в большей степени философична, чем история. Он говорит, что первая изображает общие черты человеческого характера в том виде, в каком они должны естественным образом развиваться, тогда как у истории нет иной цели, кроме как повествовать о деталях произошедшего, *например* о том, что сделал или перенес Алкивиад. Я уже указывал вам на поразительную глупость, с которой он критиковал развитие благородного трагического персонажа великим драматургом — "*Ифигению в Авлиде*" Еврипида. Его представление о портрете человеческой натуры в том виде, в каком она должна развиваться, отличается банальной последовательностью, исключая все те бури и страсти, которые внезапно возникают и которые придают человеческому характеру весь его интерес и разнообразие.

Я говорил вам о суждениях Аристотеля о трагических персонажах; но сейчас меня интересует его взгляд на историю как на простое изложение частных фактов, и я снова перехожу к рассмотрению его заявления о том, что Геродот, если его выразить в метре, тем не менее был бы всего лишь историком, а не драматической поэзией. Любопытно, что мы можем здесь опровергнуть критику, опираясь на исторические факты, которые он должен был знать. Один эпизод из истории Геродота уже стал знаменитой трагедией в руках Эсхила, о котором мы можем с полным основанием утверждать, что он превосходно разбирался в том, что подобает трагическому сюжету. Другой исторический эпизод, *Падение Милета*, Фриних сделал темой трагедии, и если он вызвал неудовольствие аттической публики, которая оштрафовала поэта, то не потому, что тема утратила трагический интерес, а потому, что в ней было слишком много трагического, ибо она растопила слезами всю аудиторию и напомнила им об их нынешних несчастьях, а также об их недавних политических промахах и о том, как они трусливо бросили своих сородичей в Ионии.

Вся суть исторической прозы как искусства, впервые постигнутого Геродотом, состоит в том, чтобы рассматривать ход человеческих дел не как простой перечень событий, а как великую человеческую драму, зависящую от больших и вечных принципов, в которой взлет и падение великих наций, еще более взлет и падение великих людей, правящих великими нациями, позволяют нам созерцать “деяния или серии событий, имеющих важность и завершенность, производящих очищение этих эмоций через возбуждение чувств жалости и ужаса у читателя”. Аристотель добавляет к этому свое определение трагедии, что сюжет должен быть смягчен изяществом дикции в каждой части, и это именно то, что сделал первый великий историк, и то, что обязан делать каждый из его преемников, если его работа должна жить как произведение искусства, а не быть простым справочником для ученых. Таким образом, история как стиль является одним из величайших наследий греков человечеству.

Но не только в стиле Геродот согласен с определением трагедии у Аристотеля. Он делает то же самое и в своем предмете. Это должно быть великое или достойное произведение, оно должно быть законченным само по себе и должно содержать те перемены судьбы, которые так по-особому воздействуют на каждого читателя. Борьба между Персией и Грецией, ее зарождение, перемены в судьбе, покорение Ионии, страдания Греции — все это привело к кульминации при Саламине и Платее и трусливому бегству Ксеркса домой — какую более обширную тему мог выбрать историк? И чтобы подсластить его словами, в действии много пауз, наполненных восхитительными отступлениями, гораздо более разнообразными и успокаивающими, чем припевы в греческой трагедии. Они, а также все основное повествование и драматические диалоги, которые он сочиняет для своих актеров, представлены нам в том легком и плавном стиле, который кажется естественным и очевидным, потому что это самое совершенное искусство.

Я не знаю, была ли эта восхитительная простота когда-либо спонтанным продуктом человеческого гения. Всякий раз, когда мне удавалось найти доказательства, я считал их результатом большого труда и скрупулезной осторожности. Я приведу вам пример. В Европе его поколения не было человека, более примечательного прозрачной простотой стиля, чем Эрнест Ренан. Однажды я увидел в комнате друга корректуру, которую Ренан прислал ему на доработку. Мне не разрешили ознакомиться с ним, но одного взгляда было достаточно, чтобы увидеть, что тонкая полоска печатного материала, первый черновик, была нанесена на большой синий лист бумаги, все широкие поля которого были покрыты исправлениями и переработками напечатанных

предложений. Многое было вычеркнуто, многое добавлено, многое изменено более одного раза. Исправлений было, возможно, в три раза больше, чем в первоначальном варианте. Результатом, как мы знаем, стало нечто настолько легкое и естественное, что, казалось, оно вышло из-под его пера без малейших усилий.

Но Геродот - не единственный образец, с помощью которого греки установили стандарт для современных писателей. В нем есть что-то от рассказчика, и он повторяет множество легенд и чудес, так что более серьезные и скептически настроенные поколения считают его легковверным путешественником, которого легко обмануть лживыми сообщениями, если не сознательным автором художественной литературы. Так много из этой так называемой лжи или вымыслов в конце концов оказались правдой или вероятными (*например*, традиция о том, что этруски пришли в Италию с побережья Малой Азии морским путем), что даже с этой точки зрения Геродот был подтвержден современными исследованиями.

Если вам нужна модель другого рода истории — той, которая претендует на то, чтобы быть трезвым изложением тщательно просеянных фактов, которая претендует на то, чтобы отбросить все чудесное или легендарное и настаивать на свидетельстве, то, по мнению всех веков, вы найдете ее совершенство в Фукидиде. Раньше существовало общее мнение, что в отличие от явно художественного направления Геродота, его преемник возвел историю, насколько это было возможно, в ранг точной науки. Теперь мы знаем, что эта точка зрения очень далека от истины. Фукидид, как всегда должно было ясно демонстрироваться в его речах, был художником столь же сознательным, как Геродот, нет, скорее, более тонким художником, поскольку он скрывал свое искусство и вводил человечество в заблуждение под маской торжественного и достойного человека, не говоря ничего, кроме неприкрашенной правды.^[11] Ибо он тоже чувствовал, что трагедии человеческих дел были подходящей и благородной темой для размышлений людей; он тоже чувствовал, что уроки, преподносимые катастрофами в делах блестящих государств и блестящих людей, столь же ценны, как уроки, заимствованные из легендарных историй для трагической сцены. Речи, которые он вкладывает в уста своих персонажей, не являются теми, которые произносятся на самом деле, ни по языку, ни, возможно, даже по существу. Это скорее риторическое изложение политических ситуаций, как их понимал историк, и размышления, которые, по его мнению, должен сделать читатель. Он также знает более современный способ рассмотрения этой стороны истории. Его размышления о резне в Корсире^[12] являются известным образцом этого художественного или субъективного письма. Я приложил все усилия в другом месте, чтобы показать, что его картина деградации политики в Греции, насколько он представляет ее новой и внезапной, ложна. Все пороки, составляющие его блестящий, но зловещий набросок, были старыми, хорошо известными и укоренились в греческом характере.^[13] Но частью его художественного замысла было изображение пороков той эпохи, и особенно Афин, кульминацией которых стал жестокий и совершенно неисторический диалог с мелийцами, как надлежащая прелюдия к великой катастрофе на Сицилии и последующему падению Афин. Таким образом, выбрав гораздо меньшую и бедную тему, чем у Геродота, трактуя ее также гораздо беднее и уже, он именно этими ограничениями усилил свою книгу и придал ей такое достоинство и пафос, что она стала художественно достойной эпохи Фидия, Аристофана, Сократа.

Когда мы спрашиваем, адекватен ли стиль этого великого произведения его художественной концепции, ответ, я думаю, не так уж далек от истины. У Фукидида есть два типа изложения: ясное, целомудренное, привлекательное изложение фактов, без украшений, но

возвышающееся в зависимости от темы до трогательной серьезности, которую редко кто превзошел. Это повествование, подобно диалогу в трагедии, прерывается в подходящие моменты притворными речами актеров, которые в силу любопытной инверсии напоминают хор в пьесе, излагая мотивы действия и часто замаскированные мнения автора. Они выражены неясным и искаженным языком, который древние критики без колебаний клеймили как насквозь плохой стиль. Имея перед собой образцы ясности, такие как Геродот, Еврипид, Антифон, этот недостаток является отличительной чертой Фукидида, и все же недостаток, который не преминул принести ему определенные преимущества. Ибо неясность всегда производит впечатление глубины, особенно когда она встречается у солидного и весомого автора. Таким образом, многие банальности в речах Фукидида и повторение очевидных идей маскируются искажением выражения, так что раскрытие смысла является умственным упражнением, которое льстит и, следовательно, доставляет удовольствие читателю, если он интересуется подобными вещами, а еще больше комментатору, который находит замечательный простор для своего часто посредственного таланта в подобном труде. Это то качество мистера Джорджа Мередита, которое заставляет его поклонников высоко ценить себя, в то время как они презирают других.^[14]

У меня нет времени проиллюстрировать далее у Ксенофонта и Полибия эту художественную концепцию периода человеческой истории как великой драмы, в которой взлет, великолепие и падение великих людей, великих городов, великих наций рассказываются нам с художественным подбором деталей и художественным совершенством стиля. Именно эта концепция побудила Гиббона написать "*Упадок Римской империи*". Он видел вокруг себя, в Риме, гигантские реликвии ушедшей цивилизации. Он почувствовал в себе силу стиля, позволяющего представить факты в адекватной форме; и таким образом, мы получили еще одно произведение искусства, в котором изложение фактов не менее важно, чем сами факты. Как говорили греки снова и снова, и как это повторяет Цицерон, история - это форма красноречия, *ита* история будет длиться только тогда, когда *непременным* условием ее существования является великий или привлекательный стиль. Это то, чему научили нас греки, и то, что многие из нас игнорировали к собственной гибели в качестве постоянных учителей.

Я завершу эту часть моей темы напоминанием вам, что в биографии, которая в качестве идиллии дает единственную сцену или в качестве эпизодической роли дает портрет отдельного человека, Плутарх был образцом для всех современных биографов. Насколько по-настоящему драматичной была его концепция и его отношение к отдельным великим жизням, вы сразу поймете, когда я напомню вам, что Шекспир нашел в своих *Жизнеописаниях* сюжеты для серии трагедий, а также в языке своей дикции, который требовал очень небольшого пересказа.

Давайте теперь вернемся к родственному развитию красноречия, в котором историческое написание достигло таких триумфальных результатов. Таковы в краткости красноречие дебатов и красноречие демонстрации. И красноречие дебатов может быть либо красноречием судов, где частные лица, истец и ответчик, выступают друг против друга, либо красноречием общественного собрания, где проводятся политические дебаты и где оратор стремится убедить большинство принять его политику или отвергнуть политику политического оппонента. Помните, что во всех этих случаях греки были одинаково враждебны импровизированным излияниям. Они верили в художественное оформление и отточенное выражение каждого аргумента. В судах общей юрисдикции, куда стороны должны были явиться лично, а не в сопровождении адвоката, обязанностью адвоката было заранее составить для клиента речь и,

возможно, проинструктировать его о том, как ее правильно произнести. Поскольку мы никогда не слышали о каком-либо срыве в суде, о том, что какой-либо клиент не может вспомнить или высказать то, что подготовил для него адвокат, я думаю, вполне возможно, что сторонам судебного процесса было разрешено прочитать свои речи. В любом случае, составление этих речей стало хорошо известной и прибыльной профессией, и, соответственно, ею занялись самые способные люди. Практика давно подсказала теорию, и поэтому с давних времен были составлены трактаты, известные как *τέχνη*, в которых тонкости искусства убеждения были тщательно проанализированы и сведены к правилу. Ранние трактаты такого рода утрачены, но мы чувствуем их результаты в остатках Антифона и Исея и можем утверждать, что они были в высшей степени практичными и полностью противостояли пене и ярости того, что мы называем народным красноречием. Использование речевых оборотов сведено к минимуму, полностью отсутствуют так называемые цветы риторики. Все сдержанно, строго, сдержанно, не претендуя на то, чтобы воздействовать на страсти, но убеждая разум. И все же это последнее должно быть сделано не путем говорения на языке сердца, а путем тщательной тренировки интеллекта и совершенства изложения.^[15] Нам, современным людям, эти вещи на первый взгляд кажутся искусственными; великое пугало современного ума, которое противопоставляет их чистоте и искренности природы. Греки прекрасно понимали этот контраст и справились с ним не тем, что безрассудно предоставили природе следовать своим собственным замыслам, а тем, что сделали природу высшим художественным произведением. Таким образом, судебные адвокаты, сочиняя для различных клиентов, изучали не только надлежащие аргументы, которые необходимо привести, но и то, что эти аргументы должны быть представлены “в характере”, и поэтому они тщательно учитывали личность выступающего. В особенности у Лисия это выражение характера оратора является частью его искусства, которое настолько идеально имитирует простоту, что требует тщательного анализа, чтобы обнаружить за простым высказыванием невзрачного горожанина тонкого ритора.

Мне кажется, что этой изысканностью юридической риторики пренебрегли или отказались от нее, когда адвокаты стали настолько знаменитыми, что выдумка клиента, говорящего от своего имени, перестала быть правдоподобной, и когда публика, заполнившая суды, пришла послушать речь Демосфена или Гиперида, произнесенную его клиентом. Следовательно, речи Демосфена не так уж различны по этосу, и многие из них, произносимые о его личных делах, уже научили публику распознавать его великолепный стиль. В частности, так много его речей были не судебными, а политическими разглагольствованиями, что эту последнюю отрасль красноречия можно рассматривать как ту, в которой он лучше всего проявил свое превосходство. И есть немало случаев, когда мнимое дело было лишь предлогом для продвижения или оправдания большой политики. Вершиной всей этой ветви греческой литературы является знаменитое “*de Corona*” Демосфена, которое великие юристы и политические ораторы, такие как лорд Броэм, провозгласили *высшим* красноречием, предназначенным не только для убеждения, но и для убеждения с помощью всех искусств тонкой логики, блестящей софистики, раскаленных аргументов. И помните, что такие люди, как лорд Броэм, хотя и бесконечно лучшие практические ценители эффекта от такой речи, чем простые ученые, не знали и десятой доли тонкостей стиля, которые были обнаружены только при тщательном изучении не только древнегреческих критиков, но и современных немецких ученых.

Даже в такой могучей речи, как эта, вы заметите очень скудное использование украшений. Здесь нет ничего из того, что мы, современные люди, называем цветами риторики; здесь нет

звучного красноречия. Это изображение серьезного патриота, отстаивающего дело своей жизни вопреки придиркам своих врагов и критике своих оппонентов. Действительно, есть отрывки грубой брани, в которых он язвительными размышлениями о прошлой жизни своего оппонента отвечает на инсинуации Эсхина о его личном характере. Характер Эсхина так и не восстановился после этого “ворошения его послужного списка”, которое, вероятно, вообще не укладывалось в рамки истины. Но ограничения, которые были обычными среди современных джентльменов в дебатах, особенно среди современных английских джентльменов прошлого века, не считались существенными для достоинства речи в высшем греческом суде, и это, вероятно, объяснялось тем, что присяжные состояли из представителей среднего и низшего классов, которых не шокировал недостаток утонченности.

Несмотря на это ограничение, не может быть никаких сомнений в том, что ораторскому искусству дебатов греки научили римлян, затем через них Средневековую Европу, затем, после Возрождения, непосредственно современную Европу, так что даже сейчас они являются признанными мастерами в этом великолепном искусстве. Это тем более удивительно, поскольку мы, естественно, могли бы подумать, что общество без книгопечатания и, следовательно, без широкой читающей публики не стремилось бы к созданию красноречия, которое было бы не только приятно читать, когда накал полемики спадал, но и достойно изучения и анализа критиками последующих поколений. Тем не менее, не имея лучшего средства публикации для читателей, чем рукописные копии, и без всякой надежды на большую известность или большую прибыль в качестве авторов письменных речей, эти греки создали работу, которая прекрасно выдержала испытание даже в новых и суровых условиях. Несмотря на ограниченную аудиторию, ораторы достигли такого ясного представления, какое есть у нас, о важности обращения к читающей и мыслящей публике, которая могла бы изучать их аргументы и их стиль на досуге, и поэтому, не довольствуясь речами, предназначенными в первую очередь для выступления, они также усовершенствовали эссе в прозе и даже диалог в прозе, очень своеобразную форму литературы, поскольку это литературный стереотип внешне спонтанной беседы.

Но когда я говорю о читающей публике, возможно, мне следует несколько ограничить это понятие и сказать о публике, привыкшей слушать чтение вслух. Это промежуточная стадия между простой аудиторией и простыми читателями книг. Я вполне привык к этой промежуточной стадии в Ирландии. Вы можете увидеть там в любой день группы людей, слушающих зачитывание газеты или книги, и если большая часть публики принадлежит к этому классу, то писатель должен думать не только о том, что он хочет сказать, но и о том, как это будет звучать, когда его прочтут вслух. Я полагаю, что тот же принцип вдохновлял составителей великолепной английской книги общей молитвы. Они хотели воздействовать на слушателя не только чувством, но и звучанием своей Литургии. Это тот самый шаг в написании прозы, который был сделан греческими исследователями красноречия, и в первую очередь Исократом, отцом политической прозы в Европе.

Несомненно, не было никаких случайных или личных причин, которые привели к такому результату в данный момент. Исократ, обладавший большими природными способностями к стилю и композиции, совершенно не обладал голосом и телосложением для профессии публичных выступлений, и у него не было экстраординарной энергии и настойчивости, проявленных Демосфеном в преодолении этих недостатков. Поэтому ему пришлось в голову, что он мог бы проявить свое влияние, написав прозу в форме открытых писем или политических

памфлетов, где он излагает свои мысли в самых изысканных выражениях и самым изысканным языком.

Я не могу не привести вам любопытную параллель с гениальным человеком, превратившим природный недостаток в блестящий успех. Когда Рихард Вагнер начал сочинять оперы в общепринятой форме, он потерпел неудачу из-за отсутствия возможности создать устойчивую мелодию. Затем он додумался до использования коротких фраз вместо выдержанных песен, и, несмотря на свой первоначальный недостаток, он приобрел очень большую и заслуженную популярность. Конечно, у Вагнера есть и другие замечательные качества, особенно его новизна и великолепное использование оркестра. Но вопрос мелодии всегда является жизненно важным в музыке, и ни один человек никогда не достигал первого ранга, который оставил нам так мало устойчивых мелодий. Его "*Руенцо*" показывает, на что он был способен, когда пытался их использовать.

Законы композиции прозы, разработанные и усовершенствованные Исократом, являются самыми тонкими и полными из всех, когда-либо применявшихся на практике живущим человеком, и хотя, конечно, некоторые из них применимы только к греческому языку, и даже к аттическому греческому, общие принципы, которые он изложил, применялись многими писателями и на многих языках.^[16] Хорошо известно, что Цицерон сам смоделировал этот стиль, и благодаря ему он стал доминирующим в Европе. Величайшим примером английского языка в старые времена является *Ареопагитика* Мильтона, который, хотя и явно вдохновлен Исократом, далек от идеального владения языком, идеальной плавности периода, совершенной ясности мышления, которые составляют очарование великого мастера. Исократ был учителем этого великолепного стиля не только для адвокатов и памфлетистов, но и для историков, и его обвиняли в том, что он заставил таких людей, как Эфор и Феопомпос, его любимых учеников, при написании их некогда знаменитых работ больше думать о своей дикции, чем об их беспристрастности или исследованиях. Но, несомненно, обязанность делать историю красноречивой, такой, какой мы видим ее у Гиббона, имеет первостепенную ценность. К этому я сейчас не буду возвращаться. Я скорее хочу привлечь ваше внимание к господству великолепного периодического стиля даже в английском языке, причем в наши последние дни, когда в моде краткость, эпиграмма, нетерпимость к стилю и притворное пренебрежение формой. Среди писателей 19 века я считаю, безусловно, величайшим стилистом Джона Рескина, и я считаю, что большая часть его влияния проистекала не из его идей, которые часто были фантастическими, а из замечательного способа, которым они были изложены. Но, по сути, он был мастером долгого периода, ибо у него вы можете найти целую страницу, состоящую из одного большого предложения, в котором согласованы многие предложения, сбалансировано множество второстепенных идей, множество нитей вплетено в единую великую ткань, которая выходит из-под пера писателя, как из-под ткацкого станка. И именно по этой причине он был лучшим стилистом, чем все Фрауды, Ньюманы и Патеры, которые либо используют короткие предложения, либо, если они пытаются использовать период, не получаются ни мелодичными, ни ясными.

Тот же закон применим и к красноречию, когда мы можем найти мастера, который проиллюстрирует его. Двумя величайшими английскими ораторами, которых я слышал за последнее поколение, были мистер Гладстон и архиепископ Мэги. Оба работали в течение

длительного периода — первый по постоянной привычке, которая была заметна даже в его обычной жизни и которая портила его разговорчивость; другой, который был краток и достаточно едок в обычной беседе, тренировался по образцу Чалмерса, великого шотландского оратора до моего появления. Я видел книгу Мэги о Чалмерсе и отметил, как тщательно он ее проанализировал. Но оба они произвели один и тот же чудесный эффект, (если можно так выразиться) погрузив зрителей вместе с ними на волны великих эпох, которые вызывали удивление, как они вообще могли благополучно пристать к берегу. Завершение такого периода не только безопасно, но и великолепно произвело на их аудиторию эффект, не похожий ни на что другое, что я испытывал. Стилль ни того, ни другого, хотя оба хорошо знали греческий, был основан непосредственно на Исократе; но, несомненно, их речь была основана на принципах, которым он научил и которые так хорошо повлияли на Цицерона и ему подобных, на Мильтона, на Джереми Тейлора, на Эдмунда Берка - всех, кто ценил и практиковал этот высочайший стиль прозы.

Но если греки здесь показали современному миру образец высшего совершенства в прозаическом эссе, они не были бы греками, если бы также не показали нам совершенство непринужденной беседы, повседневных разговоров, игры различных стилей и выражения различных характеров на культурном языке того времени. И вот Платон в своих *Диалогах* явил миру неприступный пример беседы, возведенной в ранг высокого искусства, что вновь создало особую литературную форму, которая никогда не умирала.^[17]

Все эти достижения (за исключением биографии) относятся к Золотому веку греческой литературы и являются открытием великих мастеров, составлявших славу того века. Но, как мы часто увидим в ходе этих лекций, серебряный век Греции был почти столь же плодотворен в создании моделей для подражания современной Европе. Только после того, как при жизни осталось большое количество замечательных авторов, мы могли ожидать, что литературная критика займет важное место. Ибо литературный критик, в конце концов, своего рода паразит, живущий на телах более крупных и достойных животных. Мы знаем, что когда начали собирать Александрийскую библиотеку и возникла необходимость в отборе авторов и авторских текстов, возникла великая школа ученых-критиков, которые очищали полученные копии, распределяли соответствующую ценность текстов и выработали то цензурное отношение к классическим шедеврам, которое является проклятием современного мира. Мы все еще имеем в критических эссе Дионисия Галикарнасского и еще больше в Трактате о возвышенном, относящемся к 1 веку нашей эры, превосходные образцы того, что хорошо и полезно в этом рефлексивном отношении более поздней эпохи и второсортных способностей. Великая эпоха производства была очень простой и наивной в критике; позиция Аристофана и даже Платона в оценке поэтов является всего лишь моральным суждением и, кажется, никогда не принимает во внимание эстетические вопросы. В Трактате "О возвышенном" мы находим вполне современную точку зрения, и суждения этого автора оказали немалое влияние на литературу прошлого века. Не кто иной, как Эдмунд Берк, счел целесообразным перевести этот трактат, и насколько широка была симпатия автора, сразу видно из того факта, что он цитирует в качестве яркого примера возвышенного начало произведения, далекого по духу от классической греческой литературы — книги *Бытия* в греческой версии.

Мне нет нужды задерживаться на многочисленных и разнообразных посланиях, оставленных нам греками, которые вы можете увидеть собранными в одном из больших томов *греческой эпистолографии* Дидо. Но я не думаю, что мы можем назвать письмо отдельной формой

литературы, и совершенно очевидно, что каждая нация, которая могла бы использовать письменные принадлежности, вряд ли смогла бы не перенять это в той или иной форме. Я также не думаю, что дошедшие до нас письма являются чем-то примечательным, возможно, потому, что большинство из них представляют собой компиляции людей, ложно приписывающих эти документы великим древним. Письма, приписываемые Платону, Исократу и другим, не дают нам ничего дополнительного, имеющего литературное значение.^[18] Поэтому я воздержусь от них, а также от нравоучительных разглагольствований более поздних риториков и софистов, из которых Дион Хризостом, безусловно, наиболее интересен. Я бы хотел, чтобы современные проповеди больше заимствовали из этого замечательного и малоиспользуемого источника, поскольку Дион был светским человеком, путешественником, здравомыслящим учителем морали и наделенным большим вкусом к живописному.

Но в заключение я не могу не сказать ни слова о романе в прозе греков, которые и здесь основали форму литературы, приобретшую гигантское значение в современном мире. Роман можно рассматривать как последнее законное подношение, как ребенка, рожденного не в свое время, как называет себя святой Павел, но, подобно святому Павлу, оказавшего большее влияние на нашу современную жизнь, чем любой из его старших братьев. Можно было бы подумать, что от современной комедии Менандра и его соперников до романа в прозе в современном смысле этого слова был лишь маленький и неизбежный шаг, и все же ни одна отрасль греческой литературы не оказала меньшего влияния на возникновение и развитие столь родственной темы. Те самые рамки, в которых все пьесы Менандра были растянуты с утомительным повторением, я имею в виду реабилитацию respectable девушки, которая исключительно из-за пренебрежения или насилия других людей стала матерью, не будучи женой, — такая тема была бы совершенно отвратительна любому известному нам греческому романисту. Ибо во всех имеющихся у нас историях главный интерес представляет сохранение чистоты героини, несмотря на всевозможные искушения и попытки насилия. Эта тема была довольно странной для греческих настроений и чуждой греческой литературе, пока она не была импортирована с Востока теми, кто там изучал такого рода любовные истории. На это есть указания в романтических эпизодах "*Кира*" Ксенофонта, но принятие этого в качестве поразительной темы произошло позже и благодаря Каллимаху, чья поэма под названием "*Аконтий и Сидиппа*" была, пожалуй, первой историей любви нашего современного типа, предложенной греческому миру. Юноша и девушка, красота которых была описана в мельчайших подробностях, встречаются на религиозной церемонии и влюбляются друг в друга с первого взгляда. Различные и банальные препятствия к их союзу, знакомые в каждом современном обществе — светские родители, более богатый жених для девушки, угрозы разбитых сердец и самоубийства — все это занимает сюжет, который из-за множества непредвиденных задержек заканчивается счастливым браком.^[19] У этой аудитории может вызвать изумление, что такой сюжет когда-либо был новым в литературе, особенно в литературе греков, которые имели перед собой всевозможный человеческий опыт. И все же это было новшеством в Александрии Птолемея и сделало свое состояние в этом утомленном мире и искусственном обществе. Во всех греческих романах, которыми мы располагаем, какая-нибудь подобная любовная история является необходимой нитью, которая просвечивает сквозь ткань, настолько, что немецкие педанты редактируют их под названием *Scriptores Erotici Graeci*. Тем не менее, отношения между влюбленными абсолютно чисты, и любые возникающие искушения проистекают из страстей жестоких людей, которые не вызывают интереса у читателя. Безусловно, лучшим образцом, который у нас есть, благодаря его простоте и природному

ландшафту, является знаменитый *"Дафнис и Хлоя"*, который нашел так много подражателей с тех пор, как французы из Амьё сделали его доступным для современной Европы. Мы действительно чувствуем, что неизвестный автор был далек от невинности своих персонажей или спонтанного понимания природы, которую он описывает. Это произведение относится ко времени упадка греческой литературы и имеет недостатки своего поколения. Но, несмотря на все это, это прекрасное произведение искусства, так же, как прекрасны *идиллии* Феокрита, так же, как прекрасны *Герой и Леандр* Мусея, так же, как прекрасно мартиновое праздничное лето в ваших лесах, и тем более любимое, потому что мы чувствуем, что это всего лишь "позолоченный ореол, парящий над тленом!"

Я сказал, что это наш лучший образец из-за его простоты, и все же он не испытывает недостатка в жестоких и невероятных приключениях на пути к своему завершению. Но это ничто по сравнению с приключениями влюбленных в других историях такого рода, потому что тогда существовало совершенно иное направление прозы, которое вошло в моду вместе с историей любви и слилось с ней в большой ущерб обоим - я имею в виду истории о диких приключениях в незнакомых и сказочных землях.

С чудесным вторжением на Восток изумленным грекам открылись новые регионы со сказочным великолепием, поразительными сокровищами, удивительной природой. Увиденное так сильно возбудило их воображение, что они принялись сочинять книги о путешествиях за пределы восходящего солнца и под океанскую волну, в дома чудовищных зверей и еще более чудовищных людей. Планы самого Александра были сорваны его солдатами, которые наотрез отказались следовать его безумным мечтам о всеобщем завоевании, но ничто не могло помешать воображению авторов его деяний, которые объединили реальное повествование о его завоеваниях с его поисками скрытых чудес Востока. Следовательно, мы имеем так называемую *Жизнь Александра*, которая, как я считаю, возникла вскоре после его смерти, но была расширена и прославлена последующими поколениями тех, кто рассказывал свои истории восхищенной аудитории. В этой *Жизни и деяниях* мы имеем отправную точку для целой литературы Сказочных путешествий, смешанных с описаниями не только отвратительных дикарей, но и идеальных обществ, которые жили скрыто от пороков и проблем старой и одряхлевшей цивилизации. Но эта литература, столь популярная в Средние века, находится за пределами эллинизма. Это не только последний ребенок, но и незаконнорожденное порождение их некогда чистого и возвышенного воображения.

IV

ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО—I: АРХИТЕКТУРА И СКУЛЬПТУРА

Конечно, нелогично отделять искусство от литературы. Во всяком случае, у греков литература во всех ее формах была не просто искусством, но самым совершенным искусством. Ни одна статуя Лисиппа не является более совершенной, чем драма Софокла. Но для удобства и в наш век, когда литература редко становится искусством, мы можем говорить о греческом искусстве как о том разделе их творчества, где они имели дело не со словами, а с другими материалами, и где они сочетали жизненное применение с любовью к прекрасному, как это никогда не делал ни один другой народ. Мы можем добавить, что что касается греческого влияния на современную жизнь (которое является нашей собственной темой), то в этом смысле ничто не было более значительным и постоянным, чем влияние искусства. Тысячи людей копировали или

воображали, что копируют греческое искусство, которые никогда не были способны прочесть ни слова по-гречески и которых ни на йоту не интересовала греческая литература. Сегодня я беру его более твердые и масштабные выражения - архитектуру и скульптуру, приберегая для своей следующей лекции более субъективные искусства и искусства простого орнамента.

Неверно, как вы могли бы предположить, что эти последние были развиты позже, чем искусство архитектуры. Далеко не так. В грубые доисторические эпохи, когда знания о строительстве не продвинулись дальше вопроса простой безопасности, мы находим изящные и красивые украшения на оружии и личных украшениях. Самая искусная татуировка дикаря соответствует крайней грубости в его жилище.^[20]

Самая ранняя известная нам форма дома, которая была спроектирована не только для укрытия и долговечности, но и для обеспечения безопасности, - это *подземный дом-улей*. Каменные хижины-ульи распространены у многих народов, и, возможно, лучше всего их сейчас можно увидеть в хижинах монахов на дикой скале Скеллиг-Майкл, которая является ближайшей к путешественнику из Америки землей на Британских островах. Но такие хижины нелегко защитить от врага. Это последнее преимущество достигается за счет превращения хижины в подземную камеру,^[21] и попасть в нее можно только по длинному, узкому и низкому проходу, фактически своего рода горизонтальной шахте, в которую враг может вползти только на руках и ногах, и поэтому ему могут отрубить голову, как только он появится в камере, без возможности воспользоваться своим оружием. Я видел дом такой формы в самой примитивной деревне каменно-костяного века, которая известна как Уим оф Скейлз, в очень дикой бухте главного острова Оркнейских островов, выходящей на северо-запад в Атлантику. Там, под песком, накопленным тысячелетними штормами, мы находим маленькие подземные хижины с укромными уголками в каменной кладке для хранения грубых сосудов и орудий труда, а также с низким крытым ходом, по которому владелец может прокрасться внутрь и почувствовать себя как дома. Оружие, найденное в таких домах, многие из которых до сих пор не исследованы, изготовлено либо из камня, либо из кости, либо из ракушек. Эти жилища, когда-то очень распространенного типа — помните, что сходные потребности человечества приводят к сходному удовлетворению этих потребностей в наиболее отдаленных частях света, — обычно приходят к нам на стадии выживания, когда люди уже освоили другие виды архитектуры. Поэтому они часто сохраняли для жилищ умерших этот тип подземного дома-улья с длинным и узким входом, хотя со временем дом сделали выше, а подъездную аллею - лучше (как у нас в знаменитом Новом Грейндж в Ирландии), и они даже украсили внутреннюю поверхность плит, из которых были сложены стены. Как обычно, доисторические греки делали все это более совершенным образом, чем весь остальной мир. Дом-улей, известный в прежние времена как Сокровищница Атрея, но ныне признанный гробницей какого-то доисторического царя, представляет собой великолепное здание высотой в пятьдесят футов, построенное из тридцати трех горизонтальных каменных рядов, накладывающихся друг на друга по мере подъема, с внутренними поверхностями, вырезанными для образования конической камеры. Использовались не только крупные камни для перемычек, но и бронзовые розетки, украшавшие внутреннюю поверхность стен, а величественная аллея (*дромос*), облицованная великолепной отделкой из камня и открытая небу, вела к украшенным орнаментом воротам или входу. Реставрация этого входа, произведенная с помощью настоящих колонн, которые давным-давно привез домой маркиз Слайго, теперь поражает изучающих доисторическое искусство в Британском музее.^[22] Почему я, однако, задерживаюсь на этом очень совершенном и красивом сооружении, другим известным образцом которого является Гробница Миниев в

Орхоменосе в Беотии?[23] , В первую очередь, чтобы показать вам, как высокоразвитых, так и готовых форм было постепенное совершенствование старых и грубый Защищенный дом, к которому они просто добавили высота, тщательной отделкой и орнаментом, орнамент известно из египетских параллелей в курсе каких-то пятнадцать веков до Рождества Христова; во-вторых, чтобы донести до вас тот важный факт, что улей или круглый дом был в скором времени оставлен на использование мертвых, и не нанимается для использования в гостиной допоздна в греческой истории, когда несколько круглых общественных зданий показывают, что эта идея не была утрачена. Люди, построившие великую и тщательно продуманную гробницу Атрея, вероятно, сами никогда не жили в круглом или пчелином улье, а в квадратном доме. Они сохраняли круглую форму только из уважения к мертвым, да и вообще ради сохранности сокровищ, захороненных вместе с мертвыми.

Теперь перейдем к квадратному дому (конечно, под этим коротким словом я подразумеваю все прямоугольные здания). Мне кажется, что самой ранней моделью, предложившей такую форму, была хижина из бревен, положенных одно на другое попеременно под прямым углом так, чтобы образовать квадратное пространство. Две вертикальные стойки с горизонтальной балкой над ними обеспечивали бы первый грубый дверной проем в проеме, оставленном за счет использования более коротких бревен с каждой стороны от него, и тогда было совершенно очевидно, что двускатную крышу для покрытия дома можно было бы сделать, уложив бревна сверху стены так, чтобы они упирались друг в друга своими верхними концами, или, конечно, плоскую крышу аналогичным образом.

Из этой простой формы мы можем вывести всю классическую архитектуру Европы. Во-первых, щели между бревнами были заполнены глиной, и таким образом обрабатывались даже большие камни в Тиринфе. Таким образом, стена была сделана устойчивой к дождю и ветру. Но затем кто-то обнаружил, что, превращая глину в кирпичи и медленно высушивая их на солнце, они получают строительный материал, гораздо более пригодный для использования, чем деревянные бревна или камни. Таким образом, заполняющий материал стал основным материалом стены; однако о том, насколько настойчива идея использования дерева, можно судить по тому факту, что в ранние кирпичные стены в продольном направлении были встроены деревянные балки для придания прочности, но также создавалась опасность полного разрушения, если здание подвергнется пожару. Дверные косяки и перемычки были деревянными, так как стена из сырцового кирпича, заканчивающаяся рядом с дверью, быстро пострадала бы, если бы не была защищена деревянной облицовкой, и позже вместо дерева была использована терракотовая обшивка. В конечном счете, каменные дверные рамы и колонны заменили старые деревянные изделия. Но повсюду сохранились следы примитивной обработки дерева. Самыми старыми колоннами были стволы деревьев, установленные на каменное основание. Наверху, где вес, лежащий на них, имел тенденцию расплющивать их, они, вероятно, были стянуты металлической лентой. Это, как вы видите, увековечено дорической колонной, стоящей на своем основании без цоколя, а наверху у нас есть полоса, идущая по кругу, а поверх нее выступающая капитель с плитой или счетом поверх нее, чтобы защитить внутреннюю часть дерева от промокания дождем.

В дорическом храме нет более стойкого орнамента, чем тот, что проходит по самой стене и состоит из так называемых метоп и триглифов. Метопы - это не лбы(μέτωπα), как могли бы представить даже некоторые люди, знающие греческий, а промежутки (μετόπαι), фактически открытые пространства или отверстия между триглифами. Первоначально, когда крыши были из

непрозрачной черепицы, эти отверстия были необходимы, чтобы пропускать свет. Но что это были за триглыфы? Витрувий называет их концами балок, поскольку он называет метопы *intertignia*; и почему они всегда были отмечены тремя бороздками, как следует из их названия? Очевидно, потому, что между двумя горизонтальными балками, предназначенными для создания потолка, была закреплена третья, которая поднималась к фронтону, где встречалась с другой, и таким образом образовывала каркас наклонной крыши. Когда мраморная плитка стала полупрозрачной или когда была установлена более высокая фальшивая крыша, метопы больше не были нужны для пропускания света, и греки превратили ныне закрытое пространство в орнаментированную поверхность, на которой были изображены группы, либо раскрашенные, либо вырезанные рельефом, чтобы разнообразить строгие линии здания.

Мы перешли к некоторым ведущим особенностям храмов, и это действительно здания, оказавшие наибольшее влияние на последующие столетия, но первоначально храм имел черты величественного дома, как мы можем ясно видеть по остаткам, обнаруженным в Тиринфе. Крыши и верхние этажи полностью исчезли, но расположение дверных проемов в принципе такое же, как и в исторических храмах, за исключением того, что в дверных проемах Тиринфа сохранилось много свидетельств фактического использования деревянных пилястр и колонн. Павсаний во втором веке все еще находил одну или две деревянные колонны, сохранившиеся в древнем храме Геры в Олимпии. Когда они изнашивались, их заменяли каменными, и доктор Дерпфельд обнаружил, что не все эти замены были единообразными, а соответствовали меняющемуся вкусу дня. Капители, в частности, варьировались от колонны к колонне, судя по тем, что были найдены среди обломков храма, в котором, кстати, находился знаменитый Гермес Праксителя.

Окончательное разделение между жилым домом и храмом заключалось в том, что дом включал в себя центральный двор с комнатами вокруг него, который был слишком велик, чтобы его можно было перекрыть крышей, и поэтому модель была передана по всей южной Европе. Итальянские дворцы, например, все темные и укрепленные со стороны улицы, с внутренним двором и проходящей вокруг него галереей внутри здания, на которую выходят комнаты. Настолько постоянны правильные принципы архитектуры, однажды открытые гениальной расой.

Храм или жилище богов, конечно, представляло собой одиночную камеру средних размеров с сокровищницей позади нее, и постепенное его развитие от простого квадратного помещения, в одном конце которого находилась дверь и которое было украшено двумя колоннами между пилястрами, образующими торцы стены дома — дверной проем в *антисе*, до сложного периферийного храма с двойными рядами колонн, идущих вокруг него, — все это можно найти в любом справочнике по древнему искусству. Из самого использования храма по сравнению с частным домом следовало, что, хотя храм смотрел наружу и должен был показывать свою красоту тем, кто приближался к нему, частный дом смотрел внутрь — все его красоты были зарезервированы для жильцов, и даже были приняты меры для предотвращения любого любопытного наблюдения со стороны публики. Но только в последние годы сохранившиеся руины были тщательно измерены и изучены, и теперь мы знаем, что, помимо строительства этого прямоугольного дома для бога, были соблюдены самые сложные и мельчайшие законы в пропорциях различных частей и в оптической коррекции прямых линий, которые, как было обнаружено, казались изогнутыми. Таким образом, это совершенство греческой религиозной

архитектуры заключалось не просто в принятии хорошей практичной формы и выполнении ее из драгоценных материалов с четким и компетентным исполнением. Самая тонкая адаптация изгибов, самое любопытное и тонкое применение гармонии длин и высот были использованы для создания эффекта, который все наблюдатели уже давно считают самым чудесным в мире.

Но прежде чем я продолжу, я остановлюсь на интересном моменте, который многие считают недостатком архитектурного гения греков. В каждой книге вы увидите, что использование арки было им неизвестно и что этой важной особенностью наших зданий мы всецело обязаны римлянам. То, что арка не использовалась у греков, я объясняю тем фактом, что круглый дом и коническая крыша были намеренно отвергнуты ими в пользу квадратного дома и деревянной конструкции дверных проемов и крыш. Как уже отмечалось, эта форма издавна предназначалась для погребальных целей и для погребения (а не сжигания) умерших, и поэтому ассоциации с ней были мрачными. Но мне кажется абсурдным утверждать, что люди, которые могли создать коническую каменную крышу из горизонтальных слоев камней, постепенно смыкающихся внутрь, не должны были использовать принцип арки с ее замковым камнем. На самом деле Павсаний предположил, что они сделали это в гробнице Миниев в Орхоменосе. Он говорит, что верхний камень свода - *ετορροῦν* всего свода. Если это было неточно в случае с Орхоменосом, это, по крайней мере, показывает, что Павсаний, очень опытный наблюдатель древнегреческих зданий, не считал, что такое общее различие существовало между греческими и римскими зданиями. Но, как я уже сказал, греки отказались от круглых или конических форм в пользу прямоугольных, и римское сочетание этих двух форм, которое перешло к эпохе Возрождения, явно представляет собой модификацию формы, с которой греки не согласились бы. Еще меньше они одобрили бы использование арок и наличников в качестве простого украшения здания, ничего не поддерживающего. Для греков каждый элемент их здания был предназначен для использования. Колонна была установлена для поддержки архитрава, а этот последний - для поддержки балок крыши. Плоские поверхности были украшены росписью или рельефами, но эти плоские поверхности были необходимы для защиты здания от непогоды. Таким образом, чтобы проиллюстрировать плохое строительство на примере, когда вы посмотрите на портал собора Святого Марка в Венеции, вы увидите группы мраморных колонн с богато украшенной аркой над ними, образующей богатый дверной проем. Но колонн для поддержки арки больше, чем требуется, так что некоторые из них простаивают в качестве простого дополнительного украшения. Это только один пример безвкусицы, которая поражает упадок великого стиля — в данном случае романской архитектуры восточной Италии и Сицилии.

Существует очень широко распространенное мнение, что арка была изобретена и впервые использована в Италии, и высокопоставленные авторитеты, такие как Виоле-ле-Дюк в своем знаменитом *Труде по архитектуре*, выдвинули теорию о том, что римляне научились ее использованию у этрусков, у которых они позаимствовали так много из своей ранней цивилизации. Но если это так, можно ли с уверенностью утверждать, что настоящее происхождение не было греческим? Вероятно ли, что этот загадочный народ открыл великий принцип строительства, неизвестный грекам? Я думаю, что нет; и тем более, что я считаю, что вся ранняя этрусская культура была стимулирована греками, с которыми у Этрурии были более древние и глубокие связи, чем предполагалось поколение назад. А теперь мы возвращаемся к утверждению Геродота, что этот народ пришел из Малой Азии морем в Италию. Поселенцы из самой ранней греческой колонии в Италии — Кумы - пошли по их пути, и их иммиграция, по-видимому, была не очень ранней. Следовательно, они вполне могли позаимствовать

использование арки у ранних греческих учителей и, таким образом, навязать ее римлянам и всему миру. Но действительно ли это имеет значение для моих аргументов? Даже римляне, которые довели использование арки до совершенства, не были удовлетворены ею, если только они не поместили ее внутри греческого фасада из колонн и архитравов. Греческий храм послужил образцом, который был скопирован в каждой столице Европы, и в своей наиболее совершенной форме обладает художественным великолепием, которому нет равных среди зданий мира.

Я повторяю, что, поскольку греки в очень раннем возрасте определили, что куполообразные или круглые здания являются подходящим вместилищем мертвых, они передали это решение через римлян современной Европе. Пантеон, каким бы ни было его первоначальное назначение, превратился в торжественное место упокоения национальных героев. Великая гробница Адриана, ныне замок Святого Ангела, была построена по тому же принципу, и так на протяжении всех веков, вплоть до Дома *инвалидов* в Париже и мемориала Шелли в Оксфорде, все эти дома мертвых являются художественными потомками Сокровищницы Атрея, Гробницы Миньи и других, освященных древними греками. Совсем недавно, когда наш король привел меня посмотреть Мавзолей королевы Виктории и ее супруга во Фрогморе, я смог указать ему, что строители этого круглого зала также, хотя они, вероятно, сами этого не знали, копировали древнюю и почти универсальную модель дома для умерших. Вполне возможно, что греки унаследовали эту древнюю идею от северной расы. Появление сходных форм в ранних гробницах Ирландии и других частей Европы, по-видимому, показывает, что существовало некое доисторическое соглашение относительно этой формы гробницы — самого изысканного, а также самого безопасного места жительства, которое они могли придумать, сначала для живых людей, затем для усопших королей или вождей, требовавших культа и жертвоприношений. Возможно, все это очень верно, но это не меняет того факта, что именно от греков цивилизованная Европа переняла эту идею.

Теперь я перехожу к другой области искусства, в которой эта одаренная нация проявила несомненное превосходство вплоть до наших дней. Сама мысль о том, чтобы превзойти совершенство великой греческой статуи, вряд ли приходит в голову современному скульптору. Если бы он только мог приблизиться к творчеству Праксителя или даже безымянных мастеров, высекших великую гробницу в Сидоне, он счел бы это поразительным достижением.

Мы найдем немало людей, которые объясняют это совершенство греческой скульптуры большими возможностями наблюдать за игрой конечностей и мышц во время своих ежедневных упражнений *впалестре*, где мужчины и мальчики тренировались обнаженными. Я считаю это настолько верным, что часто предлагал современным скульпторам, которые жалуются на недостаточность своих моделей, совершить паломничество на пару лет на Самоа или Соломоновы острова, где они могли бы изучать очень благородные формы, упражняясь в чистейшем естественном состоянии, при условии, что благонамеренные, но озорные миссионеры не развратили их до одежды; и я думаю, что первый скульптор, который отважится на это образование, может добиться великих успехов в своем искусстве. Но это лишь краешек вопроса о древнегреческих триумфах. Обнаженные фигуры не были самым ранним или величайшим достижением греческой скульптуры. Действительно, есть несколько архаичных обнаженных Аполлонов, но все ранние богини, насколько я знаю, были задрапированы, и

именно в драпировке греческая скульптура уникальна своим высочайшим изяществом. Нужно ли мне добавлять, что греки по-прежнему являются нашими мастерами не только в отдельных фигурах, но и в композиции? Если кто-нибудь из вас сравнит фриз Парфенона, даже в том виде, в каком он у нас есть, с любой современной композицией того же рода, не потребуется никаких аргументов, чтобы убедить его в правдивости того, что я говорю.

Есть и другая, несколько более тонкая причина этого странного превосходства в искусстве народа, у которого не было и десятой доли нашего опыта или наших технических ресурсов: я изложу ее вам словами одаренного итальянского эссеиста. Профессор Паскуале Виллари: “Проблема,” говорит он, “поставленная перед знаменитым скульптором Донателло на заре Возрождения, не могла быть решена простым изучением древнего искусства. У греков не было средств выразить христианский дух или эмоции. Их стремление было к внешней красоте форм, и их природа, будучи более простой, спонтанной и гармоничной, чем наша, могла быть адекватно выражена в мраморе. У них не было опыта психических заболеваний, мук раскаяния или всей внутренней жизни, созданной христианством. В их времена в мире не появлялись ни аскеты, ни отшельники, ни отшельницы, ни мученики, ни крестоносцы, ни странствующие рыцари. Но во времена Донателло все изменилось; способности человеческого разума изменились и умножились. Следовательно, потребовалось новое искусство, чтобы представить новую внутреннюю жизнь. Несомненно, Христос и Дева Мария не могут быть высечены таким же образом, как Венера или Аполлон. Внешняя красота больше не была единственной целью искусства. Теперь он должен был выражать характер, который является внешней формой разума. Даже сама душа человека, со всем ее грузом новой борьбы, печалей и неуверенности, должна была просвечивать сквозь мраморную оболочку. Возможно ли это, и если да, то в какой степени? Такой вопрос был задан Донателло”.^[24]

Критиковать этот интересный отрывок, показать, какой пристрастный и несовершенный взгляд на греческий гений он выражает, было бы задачей поучительной для моих слушателей, но слишком обширной и не относящейся к моему нынешнему рассуждению. Однако некоторые моменты помогут нам непосредственно приблизиться к пониманию греческой скульптуры.

Совершенно верно, что средние века, из которых вышло поколение Донателло, были периодом духовного мрака и депрессии. Но это было связано не с большими бедами и переживаниями людей, а с духовной тиранией Церкви, которая исказила сладость и благожелательность Евангелия Христа, включив в него отвратительный механизм пыток. Наиболее яркую картину этого отвратительного производства искусственных ужасов можно увидеть не только во многих гротескных изображениях адских мук, которые были совсем не гротескными для публики средневековья, но и посетив средневековую пьесу, которую ставили в Бостоне, а также в Лондоне, — пьесу под названием *Everyman*, в которой преувеличиваются ужасы смерти, представляя Божество мрачным тираном, которому служит алчная и бессердечная Церковь, которая забирает половину состояния человека за благо спасения его от вечной смерти. мучения. Эти искусственные ужасы на самом деле не были неизвестны грекам, поскольку мы слышим, что наказания нечестивых, не говоря уже о Тантале, Иксионе и остальных, составляли часть откровений Элевсинских мистерий, но им ни в коем случае не было бы отведено места в обычной жизни или в искусстве. Если аттическая публика оштрафовала поэта Фриниха на 10 000 драхм за то, что он донес до них их национальную скорбь в своем "*Падении Милета*", то чего бы они не оштрафовали автору "*Обывателя*" за то, что он привнес тьму и ужас в день смерти и оклеветал богов как жестоких тиранов, безжалостных к слабостям людей?

Но, помимо этого привнесенного мрака, на мой взгляд, неверно утверждать, что грек не был так же опытен, как любой современный человек, в решении великих проблем и неизбежных горестей человеческой жизни. Вся греческая трагедия состоит в изображении этих страданий, и если профессору Виллари нужны доказательства того, что страхи совести, муки раскаяния были прекрасно известны грекам, я прошу его обратиться к изображению души тирана в восьмой книге "*Республики* или к "*Гиерону*" Ксенофонта. Греки вовсе не были теми простыми, радостными, спонтанными взрослыми детьми, которые фигурируют во многих наших книгах на эту тему. У них был большой и разнообразный жизненный опыт.^[25] Но у них хватило здравого смысла — или, лучше сказать, гениальности? — ограничить свое искусство тем, что оно должно передавать. Они чувствовали, что мрамор и бронза не должны использоваться для изображения бурных эмоций трагедии, жестоких моментов в человеческой жизни, и когда они утратили эту сдержанность, их скульптура начала приходить в упадок. *Лаокоон* с двумя маленькими человечками, изображающими его детей, действительно является произведением искусства, которым вполне мог бы гордиться современный скульптор. Это не было бы одобрено греками Золотого века, и Фидий посмотрел бы на группу с презрением, несмотря на ее техническое совершенство.

Краткий очерк развития скульптуры проиллюстрирует этот принцип. Прежде всего, вы должны твердо придерживаться истины, на которой недостаточно часто настаивают, что скульптура у греков с необычайной быстротой развилась после долгого младенчества до совершенной зрелости. Работа 550 года до нашей эры, при полном блеске дворов Поликрата и Периандра, все еще была грубой и беспомощной, ей совершенно не хватало красоты, которую мы желаем видеть в этом искусстве. Как только нам исполняется 500 лет до н.э., у нас появляются такие вещи, как *Возничий* из Дельф, фигуры, которые находятся на самом пороге совершенства, и действительно, в некоторых отношениях, таких как моделирование и фактура рук и ног, они совершенно совершенны. Еще через пятьдесят лет мы будем обладать великолепием Фидия.

Не менее примечательным, чем этот быстрый рост, является очень постепенный упадок искусства. Возраст животных, как хорошо известно, пропорционален сроку беременности. С греческой скульптурой все было иначе. Достигнув совершенства за пару поколений, он сохранялся на протяжении всего величия греческой истории до македонских времен, когда из него создавались такие чудеса, как *Ника* Самофракийская, вплоть до римского завоевания, когда он подарил нам *Афродиту* Мелосскую, и даже еще позже, когда императрицы заимствовали у него те великолепные портретные фигуры, которыми мы восхищаемся в Ватикане и латеранских музеях Рима. И это не только Золотой, но и Серебряный век этой скульптуры, которая является вечным образцом для современных художников.

Следующая важная особенность, которая нас беспокоит, заключается в том, что эта отрасль искусства зародилась (как и средневековое искусство) на службе религии. Именно для того, чтобы изобразить фигуру бога, именно для того, чтобы украсить его храм, скульптор приложил свои огромные усилия. И я спешу добавить, что это искусство никогда не было отделено от родственного ему искусства живописи, поскольку греки всегда прибегали к помощи цвета; не только в архитектуре, но даже при изображении отдельных человеческих фигур. Они чувствовали абсолютную холодность паросского или пентеликанского мрамора и не боялись использовать насыщенные цвета и даже родственные материалы, чтобы усилить величие своих изображений Божественного.

Весьма примечательно, насколько робкими и спорадическими, главным образом из-за неправильного толкования греческого учения, до сих пор были попытки вернуться к этому здравому принципу. Действительно, в двенадцатом веке скульптором была проделана замечательная работа по изготовлению цветных статуй, в основном, как мне кажется, из дерева. Таким образом, короли и епископы того времени в соборе Генриха Льва в Брауншвейге являются наиболее яркими и реалистичными образцами искусства, и их гораздо больше в церквях и музеях Северной Европы.^[26] Но, похоже, открытие в эпоху Возрождения греко-римских статуй, с которых под действием времени, сырости и контакта с глиной стерлись все краски, ввело в заблуждение ранних скульпторов того времени, заставив их поверить, что греческие статуи всегда были из чистейшего белого мрамора; что только форма, а не цвет, была целью этого искусства; и поэтому наши галереи были затоплены с холодными фигурами, которые только начинают уступать место, как это можно увидеть на недавних выставках Королевской академии в Лондоне, более или менее тонкой тонировке или даже рельефу в ярких тонах с использованием других материалов, помимо мрамора. Таким образом, греки были нашими хозяевами как в наших ошибках, так и в наших успехах. Но теперь мы можем не сомневаться в их принципах. Даже в своих бронзовых статуях они так стремились передать выразительность с помощью цвета, что обычно делали глаза своих фигур черно-белыми.

Теперь я хочу немного поговорить о принципах композиции в греческой скульптуре, поскольку в таком дискурсе, как этот, очевидно, лучше потратить время на общие соображения, чем на подчеркивание деталей. Конечно, с архаических времен существовали отдельные фигуры, сначала богов, затем людей, которые в конечном итоге превратились в портретные скульптуры; но в первые дни композиция фигур из камня или дерева была неизвестна, пока они не стали украшать архитектуру фризами и фронтонами. Таким образом, статуи, украшавшие парадный вход в старый храм в Милете, представляли собой просто ряд сидящих фигур, подобных рядом сфинксов, охраняющих подход к египетскому храму, но композиции здесь нет. Только с появлением моды украшать здания искусством скульптора, как уже говорилось, в игру вступили композиции; и в основном в двух формах — треугольные фронтоны, которые заполняли некогда открытый конец или фронтон крыши, и декоративные полосы вдоль стен здания. Форма фронтона — очень плоский треугольник с тупым углом в вершине — определила скульптора точно так же, как оковы метра определяют поэта. Но точно так же, как эти кажущиеся оковы произвели самые великолепные эффекты в поэзии, так и ограниченность пространства подсказала греческим скульпторам самые поэтичные приемы. Теперь мы знаем, что даже доперсидский Парфенон имел такую композицию на фронте, из которого недавно были извлечены огромные змеевидные чудовища, вырезанные из местного камня, а затем раскрашенные. Но когда искусство достигло своего совершенства, мы получили изображение выдающегося мифического события или борьбы с возбужденными или сражающимися фигурами, расположенными симметрично по обе стороны от центрального бога, который более величествен и спокоен, чем остальные; в то время как в острых углах аспекты природы — реки, леса, восходящее и заходящее солнце — были представлены изящными лежащими фигурами, которые демонстрируют ту атмосферу мирного и безмолвного безразличия, которая является обычным аспектом природы вокруг великой человеческой трагедии.^[27]

Эти изумительные композиции, полные симметрии и разнообразия, были образцами, поставленными перед десятками европейских скульпторов в их подражании классической архитектуре; но я не могу сказать, что знаю хоть один образец, который я хотел бы показать здесь вам в прямом сравнении с работами древних. Именно в этом, как и во многих других

областях искусства, всех современных научных ресурсов, всего изучения старых шедевров оказалось недостаточно, чтобы разжечь искру гения в наш нехудожественный век. У нас есть тысячи ресурсов, которых не было у греков — у нас есть тысячи томов изложений, анализа, критики, рассказывающих о том, как все это делалось, — и все же мы подобны цивилизованному человеку, пытающемуся добыть пламя из хвороста, которым первобытный человек добывал себе огонь. Все наши усилия приводят только к образованию дыма; живая искра не появляется.[28]

Почти то же самое можно сказать и о второй излюбленной форме греческой композиции в скульптуре - орнаментации длинных плоских поверхностей рядами или последовательностями фигур, наиболее знакомым, но не единственным примером которой является фриз Парфенона. Теперь мы знаем из находок в Дельфах, особенно из так называемой сокровищницы Сифноса, что эта тема была заимствована Фидием из более древних примеров.

Что за странное очарование в этом длинном ряду фигур? Существует то странное сочетание одинаковости и разнообразия, которое доставляет нам удовольствие во всех занятиях нашей жизни. Это шествие имеет одну общую цель. Это принесение подношений в честь богов, и принесение их с помпой и обстоятельствами. Но в то время как все эти мужчины и девушки преследуют одну и ту же цель, они представлены с бесконечным разнообразием деталей. Кто-то едет на крутобоких лошадях, кто-то ведет быков, спокойных и встревоженных, кто-то несет тяжести на плечах, кто-то ставит их на землю - и поднимает. Существует единство и различие, которые в музыке мы знаем как гармонию, и каждая фигура исполнена с таким простым совершенством, с такой непритязательной грацией и красотой, что действительно трудно указать на какой-либо недостаток. Есть даже такая тонкость в деталях работы — поскольку эта группа фигур должна была быть видна высоко над головой зрителя, была предпринята попытка придать нижним конечностям немного более плоский рельеф, чем верхним, а конечности лошадей были даже сделаны немного легче, чем в природе, чтобы уравновесить преобладание той части, которая ближе к зрению зрителя.

Когда таковы разрушенные фрагменты искусства, которое когда-то украшало каждый город и каждое общественное здание Греции, кажется невозможным предположить, какое влияние это оказало бы на современную Европу, если бы большая его часть уцелела. Возможно, не так велик, как мы были бы склонны утверждать при первом же намеке на это предположение. Ибо мы едва ли могли бы избежать аналогии с другими искусствами и другими временами, когда сохранившиеся и известные гениальные произведения не вдохновляют современных художников. Существует множество великолепных образцов средневековой архитектуры, и все же наши современные архитекторы не смогли занять их место в качестве независимых преемников. В литературе мы встречали много подобных фактов, обсуждавшихся на предыдущих лекциях. Всех образцов в мире будет недостаточно без божественной искры как в учителе, так и в ученике, а этот дар редок и единичен не только у отдельного человека, но и у народов, которые до сих пор появлялись в ходе истории. Более того, при использовании работников отдаленной эпохи или страны в качестве образцов есть одно сопутствующее обстоятельство, которое может сделать наши усилия совершенно несоизмеримыми с их усилиями. Это атмосфера, в которой живет каждое общество, которой оно было создано или, по крайней мере, питается, и которую оно, в свою очередь, создает. Поскольку современный художник вряд ли может воспроизвести это окружение, почти невозможно, чтобы он

воспроизвел тонкий дух, некогда составлявший само дыхание греческого искусства, которое давно исчезло и о котором с тех пор никогда не вспоминал человеческий ум.

V

ГРЕЧЕСКОЕ ИСКУССТВО—II: ЖИВОПИСЬ И МУЗЫКА

КОГДА мы переходим от монументальных искусств архитектуры и скульптуры к искусствам более субъективного характера, использующим для своего выражения более мимолетные средства, мы имеем в современной жизни живопись и музыку, которые, как мы можем ожидать, будут более независимы от греческих моделей, чем остальные. Ибо, *ex hypothesi*, картины в том виде, в каком они выполнены на деревянных панелях или холсте, вряд ли переживут многовековое забвение,^[29] а что касается музыки, то обозначения настолько малы и дают слабый ключ к ее истинному значению, что даже если бы мы поняли их в совершенстве, нам все равно было бы далеко до полного понимания смысла, который ощущается греческим публичный. Я приведу вам иллюстрацию этого из моего собственного опыта. В наших английских и ирландских соборах существует традиция исполнения определенных гимнов — традиция, обычно восходящая к тем, кто пел их в присутствии композитора или под его влиянием. Более старые издания этих гимнов редко дают какие-либо выразительные пометки, поскольку исполнение доверяется вкусу хора или его знанию намерений композитора. Ярким примером является лучший из гимнов Blow: “Я увидел, и вот! великое множество”, сочиненный в царствование Карла II (1680) и исполняемый с тех пор различными кафедральными хорами, в том числе Дублинскими, где издавна существовала великая школа церковной музыки. В Дублине это один из самых трогательных и драматичных гимнов, благодаря большой вольности, которую со временем позволил себе хор викариев, сохранивший традицию в неприкосновенности. Мне довелось слышать ее в исполнении превосходного хора Колледжа Магдалины в Оксфорде в их знаменательный день — День всех Святых, когда она исполняется ежегодно. Я был поражен, обнаружив, что они просто спели ее по тексту, без каких-либо традиционных вольностей. Эффект был настолько слабым и ничего не значащим, что казался почти смешным для того, кого учили понимать внутренний смысл работы.

Мы не так уж бедны в греческой живописи, поскольку у нас есть, по крайней мере, немало фресковых изображений, выполненных более или менее неясными и некомпетентными мастерами эллинистической эпохи, которые показывают нам, к чему стремились греки; на многих прекрасных образцах керамики сохранились изображения мифических или других сцен, которые должны были иметь некоторую аналогию с изображениями тех же или похожих сцен. Наконец, у нас есть много описаний и эпиграмм от тех, кто восхищался шедеврами этого искусства, и хотя они неадекватны и часто являются наблюдениями некомпетентных критиков-риторов, они все же дают нам гораздо более определенные идеи, чем могло бы дать любое описание музыкального произведения. Что касается Золотого века живописи, то у нас нет ничего, кроме них, поскольку все наши образцы фресок на стенах взяты либо из доисторических дворцов, либо из греко-римских домов. Следовательно, если мы хотим получить какое-либо представление об этой стороне греческого искусства, мы не должны довольствоваться нашими бедными и разрозненными примерами, но должны перейти к некоторым общим соображениям, которые обеспечат более широкую и глубокую основу для нашего суждения. Ибо наши выводы от помпейских фресок к утраченным шедеврам столь же

рискованны, как если бы мы потеряли все шедевры скульптуры и попытались судить об их качестве, основываясь на терракотовых статуэтках из Танагры и других мест, которые часто изящны, но почти всегда ошибочны в своей лепке. Действительно ли мы должны были сделать вывод, что моделирование статуй из мрамора и бронзы было абсолютно совершенным?

Очевидно, что двумя эстетическими качествами, необходимыми для успеха в живописи, являются чувство формы и чувство цвета; без естественного понимания красоты, заключенной в каждом из них, высочайшего технического мастерства, каким бы ценным оно ни было, недостаточно. После того, что вы слышали о греческой архитектуре и скульптуре, мне не нужно говорить больше ни слова, чтобы показать, что в смысле формы греки были высшими и неприступными. Но как насчет их чувства цвета? Доказательства по этому поводу не столь ясны и породили различные интерпретации. Прежде всего, поэты Гомера в своих ярких картинах древнегреческой жизни необычайно расплывчаты и путают слова, обозначающие цвет, настолько, что люди привыкли воображать, что поэт, потому что он был слеп, или поэты, потому что они были примитивны, не обладали отчетливым чувством цвета. Я помню, как мистер Гладстон навязал мне эту последнюю точку зрения в разговоре вместе с ответом Чарльза Дарвина, который он дал мне прочесть, о том, что, поскольку даже насекомые руководствуются очень четким ощущением цвета, было бы абсурдно утверждать, что самые примитивные люди не должны обладать им. Этот аргумент показался и ему, и мне едва ли убедительным, поскольку способности, которые сейчас присущи человеку, необязательно развивались с той же скоростью, что и у низших форм, или не отставали друг от друга по остроте. Таким образом, развитие человека могло и не требовать острого чувства цвета, в то время как у насекомого оно было необходимым, и поэтому низшие формы жизни могли быть бесконечно более развитыми в некоторых отношениях, чем те, которые намного выше по общему состоянию своих чувств и интеллекта. Поэтому я выдвинул другое возражение: мы знаем, что у египтян за столетия до самой древней даты, допускаемой Гомером, было по крайней мере десять различных названий цвета. И это было не потому, что они более отчетливо ощущали разницу, а потому, что в своем декоративно-прикладном искусстве они создавали различные оттенки и поэтому находили для них названия. Даже в наши дни названия для тонких оттенков цветов придумывает не поэт и даже не художник, а модистка. Когда я был молод, во фразеологии этих людей было два оттенка серого — один как *gris de souris*, другой как *gris de souris poursuivie*. Это всего лишь более мелкое подразделение наших ощущений цвета, изобретенное теми, кто производит его для торговых целей. Следовательно, отсутствие названий для цветов характерно не только для греков. Более важным является тот факт, что их ранние художники, как известно, использовали лишь несколько основных цветов, а также тот дополнительный факт, что их храмы, которые они всегда окрашивали (и, на мой взгляд, правильно) для эффекта, были украшены по простому и примитивному плану — красный, синий, белый, желтый, насколько я знаю, были обычно используемыми цветами.

Теперь эти факты, как мне кажется, согласуются с небольшим развитием чувства живописности в пейзаже, которое характерно для греков. Принципы воспроизведения перспективы с помощью линий и цветов на плоской поверхности действительно были открыты в пятом веке до нашей эры неким Агафархом, чья книга по теневой живописи, по-видимому, была работой по сценографии как вспомогательному средству для создания иллюзий на сцене. Идея изображения внешней природы, по-видимому, также не была недостатком греческих художников, поскольку они переняли весьма своеобразный прием изображения гор и рек фигурами богов и нимф, которые населяли их и в которых они были олицетворены. Головы

лошадей, поднимающиеся из моря, символизировали на Парфеноне наступление нового дня. Изящные фигуры нимф на фронтонах великого храма в Олимпии олицетворяли декорации, в которых разворачивалось действие. Просматривая всю историю греческой живописи, от грубых фресок в Тиринфе до украшений домов в Помпеях, я не могу найти, чтобы пейзаж как таковой когда-либо занимал греческих художников, и поэтому здесь мы имеем одну из очень немногих областей, в которой современный мир может похвастаться независимостью от своего почти универсального учителя.

Это не так в случае портретной живописи и изображения сцен из мифологии или реальной жизни, поскольку здесь даже слабые отголоски греческого гения сильно повлияли на художников Возрождения. Однако в этой области влияние эллинистической скульптуры и рельефов настолько сочеталось с влиянием немногих образцов реальной живописи из Геркуланума, Помпей и других мест, что отдельное влияние греческой живописи на современных художников оценить не так-то просто. Во всяком случае, мифические сюжеты рассказывались и прославлялись в бесчисленных эпиграммах Антологии, и как только этот сборник стал известным и популярным, он, несомненно, завладел воображением сентиментальных художников, таких как Боттичелли. Но если прямое влияние греческого языка на современную живопись было отвергнуто из-за отсутствия моделей, то косвенное влияние греческого искусства на лучших современных художников очень велико. Рассмотрим на мгновение двух самых утонченных современных английских художников, покойного лорда Лейтона и все еще живущего и работающего сэра Эдварда Альма-Тадему. Последний обычно называет свои сюжеты римскими, но любой, кто знает, чем элегантен римский образ жизни, обязан грекам, сразу видит, что весь дух художника и сюжетов, которыми он восхищается, греческий. С Лейтоном дело обстоит еще более открыто. Все его самые поразительные картины взяты из греческой жизни или из греческих легенд; все его представление о красоте заимствовано из тех же моделей, и я хорошо помню, как, бывая у него в гостях в его восхитительной студии в Кенсингтоне, я видел, как она вся уставлена копиями греческих скульптур, и его пылкое высказывание о том, что этим неприступным моделям он обязан всем своим искусством.

В отсутствие настоящих картин широко использовались сцены, нарисованные на греческих вазах лучшего периода, некоторые из которых достигают довольно высокого уровня, и мы не можем не чувствовать вместе с сэром Альма-Тадемой, что из этого источника он почерпнул немало своих идей. Несомненно, продукты, вдохновившие Китса на создание его изысканной Оды, ясно показывают нам, что плодотворность греческого гения не умерла и даже не иссякла, а по-прежнему зажигает чистый свет в современных умах, достаточно чувствительных, чтобы зажечь пламя.

Прежде чем мы перейдем к другому предмету, следует отметить, что искусство живописи у греков зародилось и долгое время оставалось отраслью декоративного искусства и, следовательно, было вспомогательным по отношению к архитектуре, или величественной мебели, или тонкой керамике. Мода на станковые картины, написанные ради них самих, легко перемещаемые и поэтому выставляемые в галереях, а также на стенах дворцов, пришла только с упадком или, по крайней мере, полной зрелостью других видов искусства. Произведения художника были сродни произведениям эпиграмматиста, чью элегантенность вполне можно назвать более бедным словом — *отделка* — и для нас это скорее проявление большого ума, чем результат гениальности. Это был также день социального декаданса, когда простой художник

становился кумиром общества и мог выставять напоказ свое тщеславие и вульгарность, не опасаясь порицания со стороны покровителей, которые ценили его только как эфемерную моду. Сплетни, которые мы слышим о старых художниках, часто демонстрируют эту болезненно современную тривиальность.

Теперь я перехожу к теме музыки, представляющей непревзойденный интерес, но в которой я должен постараться сделать свое обсуждение понятным для тех, кто обладает лишь практическими знаниями по этому предмету. В большинстве историй греческого искусства музыка просто опущена; в специальных работах по ней есть многое не только настолько сложное, но и настолько сухое и техническое, что вряд ли можно ожидать, что средний изучающий греческую жизнь приблизится к ней.

Что касается существующих образцов, то мы обеспечены так же скудно, как и в случае с живописью. Мы восстановили несколько обрывков музыкальной нотации, сопровождающей поэтические слова; и поскольку мы понимаем эту нотацию, воспроизвести так называемую мелодию несложно. У нас также есть пара обрывков в обозначении инструментальной музыки (по-видимому, аккомпанемент), обозначение, как ни странно, отличное от устного. Но здесь мелодия отсутствует. И позвольте мне сразу сказать вам, что ни один из ныне живущих музыкантов не смог бы попытаться придать ей хотя бы малейшее правдоподобие. То же самое относится и к нашим мелодическим текстам. Несколько лет назад на стене одного из обнаруженных домов в Дельфах был найден очень хвалёный гимн. В некоторых местах поверхность камня была разбита, так что то тут, то там виднелись пробелы в одном-двух тактах музыки. Ни один из ныне живущих музыкантов, знающих свое дело, не взялся бы восполнить ни один из этих пробелов.^[30] Будь это современная композиция, мы могли бы с уверенностью предложить две или три альтернативы и исключить огромное количество реставраций как абсолютно невозможных. Этого нельзя сказать о известных нам греческих образцах, и они не соответствуют нашему современному вкусу. Говорить, что эти образцы, когда их разыгрывают для нас, отвратительны, - это просто выражение этого попорченного вкуса. Многие, возможно, даже некоторые в этой аудитории, сказали бы то же самое о простой песне, которую нынешний папа распорядился использовать в римско-католических церквях, исключая более современную музыку.

Реальный вывод состоит в том, что до сих пор греческая музыка для нас непонятна; и все же во всех других искусствах нет ничего более понятного для современных умов, чем продукты греческого вкуса, которые являются нашими лучшими и наиболее ясными образцами. Может быть, высокохудожественная нация испытывает недостаток в какой-то конкретной области? Перед нами пример современных японцев, чьи художественные работы в большинстве направлений отличаются большим совершенством и полностью оценены миром, но которые признаются (по крайней мере, я слышал, как признался один самый умный туземец), что их музыка намного ниже уровня европейских композиций. Но здесь мы, вероятно, исходим из разницы в масштабе, тогда как греческие гаммы (или, по крайней мере, диатонические) являются прародителями всех современных европейских гамм.

И теперь, когда перед вами реальная проблема, поднятая сохранившимися остатками греческой музыки, давайте обратимся к самим грекам и посмотрим, какой свет их труды проливают на этот вопрос. Во-первых, музыка была не только популярна, но и универсальна среди греков. Те, кто не культивировал ее, были хуже, чем “человек, в душе которого нет

музыки” Шекспира. Вся греческая поэзия, даже эпос Гомера, декламировалась музыкально; поэты-лирики были в такой же степени музыкантами, как и поэты; великие трагики сочиняли музыку для своих хоровых од, и действительно, греческая трагедия в исполнении, должно быть, гораздо больше напоминала итальянскую оперу, чем пьесу в нашем понимании. Это то сочетание, к которому стремился Рихард Вагнер. Но быть одаренным в двух направлениях искусства действительно большая редкость. Музыка Эсхила и Софокла, вероятно, так же уступала их тексту, как текст Вагнера уступает его музыке. Все греческие педагоги подразумевают, что каждый мальчик может научиться музыке; мы никогда не слышим ни слова о недостатке слуха, о недостатке музыкальных способностей. В прежние годы это было для меня большой загадкой, ибо, как и все вы, я воспитывался в обществе, где немногие обладали музыкальными способностями, а остальные были неспособны петь в такт или в гармонии, или научиться играть на инструменте с умом — и поэтому мы отошли от старой моды заставлять играть или петь по крайней мере каждую девушку как неизбежное бремя для общества, и теперь только те, кто проявляет к этому острое желание, проводят свое время за музыкой. Но в новых школах, где обучение хоровому пению ведется по тонической *системе соль-фа*, самые компетентные учителя сообщили мне, что неспособность ценить музыку или петь в такт встречается довольно редко и что большую часть наших детей можно научить создавать хорошую музыку и ценить ее. Если это так, то греки снова были правы, а мы в нашем старшем поколении менее мудры, чем они.

По их мнению, эта общая возможность изучения музыки была необходимым условием другого устоявшегося среди педагогов убеждения, которое нам чуждо, — я имею в виду убеждение, что занятия музыкой оказывают прямое и мощное влияние на мораль обычных людей. По этому вопросу греческие просветители были предельно ясны, и сегодня для нас имеет большое практическое значение рассмотреть то, что они говорят. Это совсем не совпадало с очень распространенным мнением современных родителей о том, что занятие музыкой в целом является утонченным удовольствием и спасет детей от какого-нибудь низменного или более вредного времяпрепровождения. Этот взгляд был хорошо знаком грекам. Но их отличительная теория заключалась в следующем: исполнение или слушание определенных видов музыки оказывает прямое воздействие, моральное или аморальное, на ум, и что поэтому мудрые педагоги должны поощрять только правильный вид музыки и изгонять из своих учеников все остальное. Я очень хорошо знаю, что были случайные голоса, особенно от философов-эпикурейцев, говоривших, что все это чепуха, что музыка не может иметь такого эффекта и что единственная моральная или аморальная часть представления заключается в словах.^[31] Но это только показывает, что мнение подавляющего большинства и мудрейших людей не было принято без критики и без того, чтобы им была ясно представлена другая сторона вопроса. Современный мир находится в ментальном состоянии, подобном эпикурейскому. Обычно мы предполагали, что музыка как таковая не оказала никакого влияния на формирование морали. Мы чувствуем, что так может быть и с аксессуарами — что постоянное пение любовных дуэтов и общение с театральной труппой может принести вред, а общение с серьезными музыкантами может принести пользу, — но современным людям, похоже, вряд ли приходит в голову, что музыка, подобная вагнеровской, помимо слов, может оказывать прямое влияние на мораль. И все же именно здесь мы могли бы оказаться в большом и почетном долгу перед греками и использовать их мудрость, чтобы спасти нашу молодежь от серьезной опасности. Это мое убеждение, не сегодняшнее или вчерашнее, а сорокалетнее, выведенное действительно из предположений Платона, но подтвержденное частым контактом с музыкой и музыкантами.

Здесь я приведу вам одну поразительную иллюстрацию. Любой, кто впервые услышит "*Тристана и Изольду*" Вагнера, поймет, что это в высшей степени аморальная тема, выраженная в очень эмоциональной музыке. Это художественное прославление супружеской неверности, смягченное старым и вульгарным оправданием волшебного любовного зелья. Все это настолько очевидно, что я удивляюсь, как трезвые люди не стали бы удерживать своих детей от наблюдения за этой работой точно так же, как они пытаются удержать их от чтения аморальных романов. Мне это казалось еще хуже, ибо я не мог не понимать и часто и давно утверждал, что сам композитор написал музыку под влиянием какого-то подобного морального отклонения и что, помимо слов, она была предназначена для выражения его преступных стремлений и разочарований. Прошел всего год или два с тех пор, как переписка одной дамы, опубликованная после ее смерти, показала, что это ожидание было буквально правдой, что эти фразы о любовной тоске действительно были сочинены и отправлены ей, потому что она пробудила в нем страсть, которую была недостаточно порочна, чтобы удовлетворить.

Я знаю, что есть люди, которые думают, что трансцендентный гений, такой как гений Наполеона или, по-своему, Вагнера, дает оправдание или, по крайней мере, оправдание такому беззаконию. И вы слышали много разговоров о *Сверхчеловеке*, чьим главным атрибутом мне кажется *нечеловеческий*, когда речь идет о правах других. Для меня истинный Сверхчеловек - это не раб своих собственных страстей, который удовлетворяет их за счет других, а хозяин самого себя, который, поскольку он чист, чувствует слабости своих ближних и помогает им. Не сэр Ланселот, а сэр Галахад - идеал рыцарства. О едином,

“Его честь, основанная на бесчестии, устояла,
И неверная вера сохранила его ложную верность”;

но о другом,

“Моя сила равна силе десяти человек, потому что мое сердце чисто!”

Возможно, во время этого отступления в ваших умах возникло возражение, что если греческая музыка, по всеобщему мнению, оказывала моральное или аморальное влияние, то это потому, что она полностью отличалась по качеству от той, которой мы занимаемся, и поэтому делать выводы из одного к другому очень опасно. Это подтверждается уже приведенным фактом, что настоящие остатки греческой музыки, хотя и разборчивы в буквальном смысле, не имеют никакой силы воздействовать на наши музыкальные эмоции. Поэтому мы должны вернуться от практики к теории и доказать вам, что, несмотря на эти трудности, греческая музыка определенно была источником и предшественницей нашей собственной. И я могу сказать в качестве предисловия к этой части моего выступления, что простота музыки отнюдь не является причиной ее меньшего эмоционального воздействия, возможно, именно поэтому огромная масса людей чувствует ее более глубоко. Сложность нашей современной музыки, как правило, отдаляет ее от чувств широкой публики и ограничивает ее влияние особым классом подготовленных музыкантов. Греки не оставили нам никакой практической работы над музыкой, никакой критики существующих композиций, никакого сравнения воздействия, производимого на аудиторию тем или иным исполнителем, тем или иным видом инструмента. Мы находим

только очевидные обобщения, такие как то, что флейта более увлекательна, чем арфа. Действительно, есть один отрывок, где Платон идет глубже и критикует чисто инструментальную музыку как более захватывающую и, следовательно, возможно, более вредную, чем вокальная музыка с аккомпанементом, показывая, что он не придавал значения эмоциям в словах. Те, кто глубоко разбирался в современной музыке, согласятся с ним; они чувствуют, что эмоции, вызываемые симфонией Бетховена, более утонченны, и потому более утонченны, глубоки и долговечны, чем эмоции, вызываемые любой вокальной музыкой, если только это не музыка из восьмичастей, которая приближается к богатству оркестра.

Но это наводящее на размышления замечание является исключением. Дошедшие до нас музыкальные трактаты носят исключительно теоретический характер и касаются научных основ музыки, а не ее применения на практике. И первая проблема, к которой они приложили себя, которую они решили и передали нам, их наследникам в искусстве, - это определение надлежащей гаммы или гамм, в которых должна быть сочинена музыка. Это было нелегко сделать, и если вы возьмете на себя труд послушать музыку любого народа, который не принял греческое решение или что-то подобное, вы сразу почувствуете разницу. Я хорошо помню, как с большим трудом убедил группу цыган в Венгрии сыграть для меня не музыку венгров, которой они так славятся, а что-то из их собственных восточных произведений, которые они исполняют между собой наедине. Я нашел это совершенно непонятным из-за гаммы, в которой, казалось, было тринадцать или четырнадцать нот в пределах октавы. Все это греки предусмотрели, и в некоторых своих ранних гаммах они использовали четверти тона и интервалы, странные и неприятные для нас. Но после долгих колебаний они остановились на диатонической гамме, которая стала основой их музыки, а в свое время и нашей. Разновидностей этого масштаба, которые они использовали, было намного больше, чем у нас. Мы довольствуемся вариациями мажора и минора и повторяем одни и те же интервалы в том же порядке с незначительной разницей в высоте звука, очень незначительно изменяемой характером нашей настройки. Греки считали положение двух полутонов гораздо более важным и считали, что качество гаммы, помимо высоты тона, определяется разнообразием расположения этих интервалов. Но я должен повторить, что наши дошедшие до нас трактаты настолько абсолютно научны, а не практичны, что было бы невозможно попытаться проанализировать их в популярной лекции. Открытие научной основы согласия, или гармонии, и ее отличия от диссонанса было сделано очень рано пифагорейцами, и я часто думал, что их знаменитая теория о том, что числовые соотношения являются ключом ко Вселенной, была во многом стимулирована и подкреплена открытием, что октавы, квинты и четверти, которые на слух воспринимаются как созвучия, могут быть получены остановкой вибрирующей струны в точках, разделяющих ее на части, представленные соотношениями 1: 2, 2: 3 и 3: 4. Они не признали наш любимый мажор $\frac{1}{3}$ созвучием, поскольку пропорция была более сложной, а именно. 4:5 или 5:6; и действительно, если мажор $\frac{1}{3}$ на наших инструментах настроить на полную высоту в два полных тона, он звучит резко и очень неприятно. В этом, как в наиболее подробном, мы можем следовать и понимать греческую теорию. Когда Аристотель говорит нам, что средняя нота гаммы - это та, к которой мелодия всегда возвращается, он, очевидно, имеет в виду мелодию без сопровождения, и есть десятки наших мелодий, которые движутся вверх и вниз вокруг этой основной ноты, которая в этих случаях может хорошо представлять центральную ноту гаммы.

Я не могу больше задерживаться на этой теме. Поэтому я подводлю итог так: у греков была музыка, в какой-то степени однородная с нашей; они приписывали ее разновидностям большое и прямое воздействие на мораль людей. Видя, что во всех других видах искусства они были на

редкость современны и разумны, педагогам, несомненно, стоит тщательно обдумать, не скрыты ли аналогичные эффекты в нашей музыке, *например*, не может ли изучение Генделя, Корелли, Палестрины оказывать укрепляющее воздействие на разум, в то время как изучение Шопена, Верди, даже Бетховена, со всеми их неопределенными *мировоззрениями*, которые они содержат, с неудовлетворенными стремлениями, беспричинным недовольством, подвешенной гармонией, не может непосредственно способствовать развитию психики. пороки современного общества, пороки, небезызвестные в фешенебельных городах этого Содружества.

Теперь мы переходим к теме домашней мебели и декора, в которой вы обнаружите, что многие наши идеи, в том числе лучшие, заимствованы у греков.

Нам не посчастливилось раскопать греческий город лучшей эпохи из-под лавы или из-под обломков землетрясения. Но вполне вероятно, что даже если бы руины Антиохии были очищены от обрушившихся на нее огромных камней, во время многочисленных землетрясений первых веков нашей эры можно было бы обнаружить несколько великолепных домов. Однако до сих пор я не знал, что, за исключением Делоса, нам удалось найти четкие свидетельства того, что настенные украшения и мебель греческого дома были такими же по виду, как те, что были подняты из мертвых в Помпеях и Геркулануме за полтора столетия раскопок. Эти города, а также Неаполь, который был хорошо известен Цицерону как по сути греческий город, находились в непосредственной близости от Путеол, которые снова на протяжении нескольких столетий были главным портом для всей александрийской роскоши с тех пор, как второй Птолемей подружился с римлянами. Таким образом, через Путеолы греческие художники и греческие узоры попали на это побережье, и даже поклонение Исида и частое использование ибиса и крокодила в своих рисунках показывают, что эллинистические художники ощущали влияние исконно египетских работ, точно так же, как рабочие французской “Империи” почувствовали дыхание древнего Египта, когда комиссия Наполеона представила свои великолепные работы об этой загадочной стране.

Таким образом, хотя все маленькие тексты, нацарапанные детьми на стенах, написаны на латыни, я полагаю, что мебель и убранство открытых шикарных домов или вилл выдержаны в греческом стиле и, таким образом, могут дать нам некоторое представление о внутреннем убранстве греческого дома. И позвольте мне сразу добавить, что находки таких руин и останков в Риме во времена Возрождения сформировали весь вкус той эпохи и привели к украшению домов в прямом подражании античному, которое копируется до наших дней.

Примечание.—Я подумал, что не смогу должным образом донести до аудитории характер этого декора, за исключением показа некоторых дизайнов и некоторой мебели на экране. Некоторые фотографии были взяты из великолепной работы Никколини *"Искусство Помпей"* (Неаполь, 1876-92), куратор которой позволил мне использовать дорогостоящий процесс цветной фотосъемки, чтобы показать не только дизайн, но и насыщенные цвета помпейских стен.

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ: ГРАММАТИКА—ЛОГИКА— МАТЕМАТИКА—МЕДИЦИНА

КОГДА я говорю вам о греческой науке, я, конечно, использую это слово в старом и собственном смысле, включающем все строгие рассуждения, особенно дедуктивного рода, особенно, следовательно, чистую математику, а не просто выводы из наблюдений и экспериментов, которые сейчас обычно присваивают себе и даже монополизируют звание Науки. Я часто вижу, как в образовательных программах естественные науки и математика противопоставляются как разные вещи, что в данном случае действительно так и есть, только потому, что так называемая Наука часто недостойна этого названия. Науки онаблюдении, я думаю, не были сформулированы греками, за исключением медицины, в которой их результаты до сих пор цитируются с уважением; в случае гидростатики, как показано в великой книге Герона; и в случае естественной истории, в которой они составили первую подборку фактов, которые могут использовать современные ученые; но мы потеряли то, что они говорили об их художественных наблюдениях, а именно их мельчайшие наблюдения анатомии человеческого тела, которые, как я уже говорил вам, их скульпторы научились изображать с такой точностью, что ни один современный анатом не может найти аналогии. изъян в их работе. Это было сделано путем тщательного внешнего наблюдения, поскольку практика препарирования человеческого тела показалась бы им нечестивой и ужасной. Но всякий раз, когда это было возможно, греки возвращались к первоосновам и создавали теорию, из которой выводили факты; и именно это сделало их науку такой ценной. Будет нетрудно показать вам, как в Логике — науке рассуждения, — в арифметике и в геометрии — науке о законах линий, фигур и твердых тел в пространстве — они являются нашими учителями по сей день.

К предмету логики следует подходить тем же путем, каким подходили к нему греки, - через анализ обычного языка и как естественного выражения мышления. Ранние поэты и великие прозаики настолько усовершенствовали использование языка, что греки в списке человеческих приобретений вознесли свою речь на очень высокий пьедестал. Восхищенные им и презирающие все другие языки как варварские, они убедили себя, что греческое слово адекватно выражает природу того, что оно означает, и, следовательно, правильно понимать их язык - значит понимать природу вещей. λόγος означало не только речь (*oratio*), но и разум (*ratio*), и поэтому, сначала попытавшись получить четкие представления об абстрактных идеях, они перешли к структуре предложений и проанализировали речь настолько точно, что их технические термины стали нашими современными техническими терминами. Когда вы говорите *оинфинитивах*, или *родительных*, или *причастиях*, вы используете только слова, заимствованные из латинских переводов греческого языка, часто с неправильным переводом. Вы находите эти логические исследования в их начале, но ни в коем случае не в зачаточном состоянии, в *Диалогах* Платона. Целые беседы используются для того, чтобы попытаться зафиксировать коннотацию важных моральных терминов, таких как *святость*, или *доблесть*, или *воздержанность*. И мы также находим в некоторых диалогах понимание трудностей, содержащихся в форме простых предложений, значения утверждения или отрицания и природы вывода одного предложения из другого.

Но мне нет нужды задерживать вас подробностями об этих ранних этапах подготовки к науке, поскольку перед нами различные трактаты Аристотеля по анализу речи с ее логической стороны и изложению законов формального мышления с такой точностью и полнотой, что к ним никогда не добавлялось ничего важного. Мы часто слышим, как говорят, что один человек постиг и систематизировал эти законы. Это неправда; до него было много пробных работ. Но если и есть какое-то достижение, которое сделало его имя и славу вечными, так это его трактовка теории рассуждений.

Средневековые университеты хорошо знали это, как и современные университеты Европы, которые достойны этого названия. Мне нет нужды свидетельствовать об огромной важности здоровой Логике, говоря вам, что в моей юности ничто так не пробуждало меня, как то, что в четырнадцать лет мне дали в руки хорошую Логiku. Ибо с тех пор я часто преподаю его и наблюдаю за его воздействием на сотни умных молодых людей. Среди всех предметов, которые мы преподаем не с целью предоставления простых фактов, а с целью обучения молодежи оценивать факты и координировать свои знания, я не знаю ничего, что принесло бы пользу обычному студенту больше, чем изучение аристотелевской логики. Могу ли я добавить, что, насколько я знаю американское образование, самым серьезным недостатком, который я в нем заметил, является недостаточное внимание, уделяемое этому предмету, и, следовательно, огромное количество ваших мужчин и женщин, которые неспособны отличить здоровый аргумент от необоснованного, не говоря уже о том, чтобы указать, в чем заключается ошибочность.

Я не сомневаюсь, что здесь присутствует большое количество людей, в остальном высокообразованных, которые, предположи я стандартный пример для их критики, были бы в растерянности, как с этим бороться. Позвольте мне привести иллюстрацию. “Каждая курица появляется из яйца; каждое яйцо происходит от курицы; следовательно, каждое яйцо происходит из яйца”. Правильный ли это аргумент? Если нет, то в чем же его вина? Если бы вы все были обучены Логике Уэтли или любой другой Логике подобного рода, как мы были в юности, такой вопрос не представлял бы никакой трудности.

Но если вы не смогли извлечь этот урок из древних греков, то вашим английским предкам посоветовали лучше. Все тонкости средневековых школ, все диспуты в их университетах были основаны на греческой логике; и, хотя они часто тратили свое время на праздные проблемы, всегда следует помнить, что таким образом Европа была приучена к точности и изощренности в аргументации, а следовательно, к взвешиванию расплывчатых и случайных теоретизирований и к тому, чтобы сделать людей компетентными критиками любой новой догмы. Мы часто замечаем с нашей стороны Атлантики, как много диких теорий в религии, как много фальшивых теорий в науке расцветают и процветают в этой стране, населенной, возможно, самым проницательным и интеллигентным населением. Самый простой ответ - указать на их незнание общепринятой Логики и, следовательно, на их склонность быть обманутыми самыми вульгарными ошибками. Было бы легко упомянуть популярную в этой стране книгу, страницы которой любой логически образованный человек использовал бы только для того, чтобы заворачивать сардины или топить плитку.

Греки не выставляют напоказ свою логику в своих трудах, хотя мы знаем, что они любили тонкости; действительно, примеры этого есть в “Софисте” Платона, где подобные вещи высмеиваются в его пародии на двух профессиональных педагогов. Но есть два великих и

убедительных доказательства силы, которую строгая Логика имела в их умах. Первое содержится в их литературе. Где бы они ни взялись обсуждать какой-либо вопрос, будь то политический, социальный или религиозный, их рассуждения ясны и их легко проследить. Они, конечно, часто исходят из традиционных верований, которые, возможно, сейчас не вызывают одобрения, но они всегда исходят из них с ясным и трезвым мышлением. Не было более важной причины для постоянства этой великой литературы. Его здравый смысл уберег его от всякой экстравагантности и сделал приемлемым для образованных людей всех возрастов и наций. Второе доказательство - моя главная тема на сегодняшний день: это физический культурно-логический характер греческой математики, который также сделал ее моделью научного мышления о мире.

Позвольте мне вернуться к зарождению греческой науки и привести вам доказательства этого утверждения. Оставляя пока в стороне мыслителей-метафизиков, которые займут нас в другой главе, мы можем с уверенностью сказать, что самыми ранними математиками была школа Пифагора, а также что их работа началась (поскольку они не исходили из высшего из всех — чистого мышления) с арифметики. Этой науке Пифагор и его школа придавали такое значение, что предполагалось, что они считали числа сущностью вселенной. Если вы думаете, что такая теория - сущая бессмыслица, я могу сказать вам, что я часто слышал, как мои коллеги, выдающиеся представители современной науки, обсуждали теорию, живущую и по сей день, о том, что так называемая материальная вселенная состоит из простого движения, в котором нет ничего, что можно было бы перемещать! В основе этих рассуждений лежит фундаментальное различие формы и материи, определенного и неопределенного; и пифагорейцы получили представление о вечной истине, что только благодаря нашей интуиции пространства и времени и посредством абстрактных концепций, объясняющих их, мы можем подчинить мириады явлений природы понятному закону. Это было раннее предвосхищение, насколько мы можем это объяснить, великой теории Декарта, согласно которой вся вселенная может быть сведена к математическим соотношениям, а с ними справляется алгебра, которая по своей сути является всего лишь очень абстрактной и обобщенной арифметикой. Следовательно, если все части света находятся во взаимных арифметических отношениях, наиболее ярким примером которых является химический закон определенных пропорций, наука о числах должна быть капиталом каждого ученого.

И помните, что на греческом языке это было строгим значением их *арифметики* — чистой науки, в то время как они использовали термин *логистики* (или вычисления) для обозначения практических правил. В основе их теории чисел, конечно, лежало одно великое допущение, которое делает науку возможной — я имею в виду абсолютное равенство единиц любого числа, используемых для целей вычисления.

Это не просто абстрагирование от всех их различий, как когда я говорю, что нынешняя аудитория состоит из пятисот человек, независимо от бесчисленных различий, существующих между единицами этой толпы. Именно предположение об идеальной и точной идентичности каждой из единиц измерения по величине делает возможным арифметическое выражение геометрических истин.

Истина о том, что $32 + 42 = 52$ применима не только к числам, но и к прямым, и, вероятно, подсказала Евклиду геометрическое доказательство (1, 47). Но это верно только в том случае, если единицы измерения в каждой строке точно равны.

Исходя из этого первого предположения, пифагорейцы начали размышлять об особенностях естественного ряда единиц, используемых людьми, и выводить из этих общих соображений различные теоремы, которые, по их мнению, могли бы раскрыть тайны природы. С самого начала они были поражены очевидным контрастом между четным и нечетным, который Платон, следуя за ними, рассматривал как фундаментальное различие в природе. Если бы им сказали, что тысячи лет спустя люди науки обнаружат, что самое примитивное и фундаментальное различие между животными основано на этом различии, я имею в виду различие между *артио-дактилем* и *периссодактилем*, которые на самом деле называются греческими словами, они бы сказали, что это не вызвало у них удивления, поскольку их арифметика давным-давно установила это различие как закон природы. В качестве простых примеров того подхода, который получила от них наука о числах, я могу привести следующее: Последовательные сложения нечетных чисел дают квадраты четного и нечетного рядов.[32] Последовательность четных чисел при сложении не дает нам такого результата, а скорее то, что сложение четных чисел дает нам цифры, которые являются произведениями последовательных чисел, отличающихся только на единицу, *например* $2 + 4 = 3 \times 2$; $2 + 4 + 6 = 4 \times 3$, и так далее. Эти последние числа рассматривались как прямоугольники, выраженные линиями. Именно благодаря открытию отношения сторон к основанию прямоугольного треугольника они, так сказать, наткнулись на иррациональные числа. Если каждая из двух сторон равна 1, гипотенуза равна $\sqrt{2}$, что само по себе не является целым числом, а представляет проблему.[33]

Все результаты этого пифагорейского исследования сохранились до времен Платона и Аристотеля, а затем, как мы знаем из Евклида и Теона, дошли до александрийских ученых. Важность, признаваемая ими в числах десять и двенадцать, была продемонстрирована общим принятием десятичной системы счисления и делением времени по двенадцатеричной системе.

Вы спросите меня, какие символы были у греков, которые могли позволить им обрабатывать арифметические числа любой сложности, и на это я мог бы дать вам сейчас совершенно определенный ответ, но подробности уведут нас в сторону от нашей темы, поскольку это обозначение было утрачено в Темные века и в конечном итоге было заменено арабскими цифрами. Но теперь мы знаем, что у них была очень практичная система десятичной записи, основанная на использовании букв алфавита; и тот факт, что несколько букв, устаревших в алфавите пятого века до нашей эры, фигурируют в качестве символов, доказывает, что она была актуальна еще во времена пифагора. Знаком для 6 является *дигамма*, которая для 90 является *коф* финикийского алфавита, который все еще встречается в локрийских надписях; финикийская буква, известная как *сампи*, используется для обозначения 900. Мы прекрасно знаем практическое применение этой простой системы счисления по массе счетов, как частных, так и публичных, найденных на египетских папирусах. Она может выражать большие числа гораздо более сжато, чем римская система, часто даже более сжато, чем наша. Предположим, вы хотите выразить любое большое число, скажем, 20 050, здесь это β / MN ; скажем, 47 678, это $\delta / MZXON$, и если в простом городе здесь будет небольшой выигрыш, я дам вам $800\,000 = 10\,000 \times 80 = \pi / M$. Но это практические вопросы, хотя без простых обозначений даже самые научные мыслители не смогли бы добиться большого прогресса.[34]

Следующим важным шагом был переход от арифметики к геометрии как науке о пространстве и демонстрация того, насколько одни и те же законы управляют обеими.

Если мы не очень хорошо осведомлены о началах арифметики, то нам больше повезло в случае с геометрией, и здесь, если вообще где-либо, древние греки были признанными учителями современной Европы. Ибо мы имеем в так называемых *Элементах* Евклида, составленных, скорее всего, в Александрии около 300 г. до н.э., краткое изложение всего, что было открыто до его времени, несомненно, со многими его собственными открытиями. Он явно опирался на своих предшественников; на протяжении всей своей книги он имеет перед собой проблему, обсуждаемую у Платона, проблему возможного числа правильных многогранников, и ее решение составляет кульминацию его работы. Но он начинает с самого начала и выстраивает всю свою доктрину с такой точностью, что трудно найти изъян в демонстрации.

Как этот великий мастер достиг такого совершенства? Форма его демонстраций не предполагает близости с логикой его непосредственного предшественника Аристотеля; но от него он мог бы легко получить полное представление о строго дедуктивной науке, которая, начиная с минимально возможного числа первичных данных, продолжает выводить из них путем строгой демонстрации предложение за предложением. Философы нашего времени часто выражали удивление ясностью, с которой излагаются эти данные. Их три: во-первых, *общие понятия*, которые применимы ко всей науке и ко всей практической жизни, такие как “целое больше своей части”; во-вторых, *аксиомы*, свойственные нашему восприятию пространства, такие как “две прямые линии не могут охватить пространство”; и в-третьих, очень простые *постулаты*, которые сводятся к использованию линейки и циркуля с карандашом. Кроме того, существуют очень точные определения, настолько точные, что поначалу они кажутся неясными, потому что они применимы к идеальному построению ума в его интуиции чистого пространства и не заботятся о недостатках реальных фигур. Таким образом, его “точка, не имеющая частей”, - это вообще не ничто, а минимум определенного места; его прямая линия, “которая лежит таким же образом (ὁμαλῆς) между любыми двумя точками, взятыми по ее длине”, - это просто единство направления. Каждая другая линия меняет направление в некоторых своих последовательных частях. Это прямое обращение к интуиции, без которой мы не можем начать изучение космоса. Такова же аксиома о параллельных прямых. Таково также доказательство методом суперпозиции, показывающее, что два треугольника, если некоторые из их измерений одинаковы, должны полностью совпадать.

Но я не должен пытаться прочитать вам лекцию о *элементах* Евклида, о которых у некоторых из вас могут остаться недобрые воспоминания. Ибо несчастье, равно как и слава, великого произведения заключается не только в том, что оно повторяется веками, но и в том, что его повторяют и пародируют те, кто просто принимает его величие из голоса веков и кто приходит к мысли, что слова вдохновения требуют лишь слепого повторения, чтобы наставлять людей. Так что, если Евклид стал во многих классических школах своего рода амулетом или фетишем (который для соблюдения приличий должен быть включен в программу, но который можно выучить, заучивая доказательства наизусть без какого-либо интеллекта), такое несчастье - не вина Евклида, а самая трогательная дань уважения его гению. Позвольте мне также добавить, для пользы тех из вас, кто никогда не видел более шести книг “*Элементов*” и кто, вероятно, считал, что шести книг более чем достаточно, что это всего лишь введение к обсуждению более высоких и сложных вопросов, которые показывают большой прогресс, достигнутый греками в этой науке, и которые также объясняют, почему в других искусствах, таких как архитектура, нет недостатка в научной точности. Книги VII-X посвящены не геометрии, а высшей арифметике, и даже рассматриваются, как в книге X, несоизмеримые или иррациональные величины. С XI он начинает преподавать геометрию тела, измерение пирамид, конусов, сфер и тому подобного,

заканчивая (XIII) обсуждением пяти правильных многогранников, о которых давным-давно говорил Платон.

Из великого ряда первооткрывателей и учителей чистой математики мне нужно здесь выделить только три бессмертных имени: Аполлоний из Перги, живший около 200 г. до н.э., чья геометрическая трактовка конических сечений, как мне сообщили, является великолепным памятником гения, который до сих пор был бы основой современных исследований, если бы обработка этих фигур с помощью анализа полностью не вытеснила геометрический метод. Затем есть Папп во втором веке нашей эры, который в восьми книгах дает нам обзор всех предыдущих мастеров с важными дополнениями от себя. Третье имя - Диофант, который жил гораздо позже, возможно, в четвертом веке, и чьи работы считаются первым большим шагом на пути к науке Алгебре.

Все эти рассуждения были развиты в направлении математической физики Архимедом, Героном и другими великими людьми александрийской школы. Триумфы Архимеда в механике поразили римлян, которые при защите Сиракуз от их нападения обнаружили, что он равен целому войску. Но насколько мало Архимед ограничивал себя практическими проблемами, показывает его знаменитый метод определения площади круга путем приближения, путем вписывания и обведения многоугольников с большим количеством сторон, которые, конечно, можно рассматривать и измерять как комплекс треугольников. Мне сказали, что это все еще доказательство, признанное современными математиками лучшим.

Работы Херона демонстрируют не только превосходное практическое знание механики, но и гидростатики, из которой он выводит ряд самых остроумных изобретений, таких как наш пенни в игровом автомате, и даже построение целой сцены, разыгрываемой марионетками, движущимися с помощью сложнейшего скрытого механизма. Это[35] является прекрасным образцом его изобретательности в использовании обычных механических приспособлений. Он постулирует высокое полое основание, украшенное пилястрами и имеющее архитрав, верхнюю поверхность которого покрывают доски. Над ним возвышается небольшой круглый храм, видимый со всех сторон, с шестью колоннами. Он покрыт конической крышей, а на вершине изображена фигура Победы с распростертыми крыльями и держащей в правой руке гирлянду. Под центром крыши стоит фигура Вакха, держащего в левой руке тирс, а в правой - чашу. У его ног лежит маленькое чучело пантеры. Перед Бахусом, за ним и снаружи храма стоит алтарь с сухими стружками. Также с каждой стороны, снаружи храма, по Вакханке в подобающем костюме и позе. После того, как весь концерт будет установлен в каком-нибудь подходящем месте, экспонент удалится, и автоматическая машина вскоре переместится на определенное место. В тот момент, когда он прекратится, зажжется огонь на алтаре перед Бахусом, и из его тирса потечет молоко или вода, а из его чаши вино будет вылит на пантеру под ним, пилястры под ним будут украшены гирляндами, вакханки будут танцевать по всему храму; зазвучат барабаны и цимбалы. Когда этот шум стихнет, фигура Вакха повернется к другому алтарю, и все движения повторятся в другом направлении. Как только это произойдет во второй раз, шоу закончится, и вся машина вернется на свое прежнее место. Мы чувствовали себя обязанными, добавляет он, сделать измерения (которые он приводит) маленькими, поскольку, если их сделать большими, у аудитории, естественно, возникнет подозрение, что внутри машины находится человек, производящий все движения. Таким образом, эта мера предосторожности должна соблюдаться при изготовлении любой автоматической машины.

Затем он переходит к подробному описанию конструкции этой машины. Это столь же остроумно, как любая конструкция современности, но не может быть представлено вам без ряда рисунков, которые приведены в его книге. Любой из вас может прочитать его на греческом (текст Тойбнера), к которому добавлен отличный немецкий перевод. Достаточно будет упомянуть, что зажигание алтарных огней производится путем сокрытия лампы внутри алтаря непосредственно под деревом и снятия металлической пластины, разделяющей их. Подача молока и вина производится путем сокрытия двух небольших резервуаров на вершине здания и подачи жидкости по трубам вниз по внутренней стороне колонн и вверх по внутренней стороне фигуры Бахуса, так что, когда краны поворачиваются с помощью механизмов, молоко и вино текут и поднимаются до уровня тирса и чаши, которые установлены ниже уровня цистерн. Достаточно очевидно, что люди, которые могли делать такие вещи, были способны изобрести *сакию*, которая сейчас используется по всему Египту, где горизонтальное колесо, приводимое в движение волами вокруг оси, перемещает другое колесо перпендикулярно, под прямым углом к нему, снабженное кувшинами, которые наполняются внизу и, когда они проходят высшую точку своего вращения, сливаются в водоток и таким образом орошают более высокий уровень. Хорошо известно, что это было изобретение александрийских механиков, чья теория задолго до их практики и чьи научные приложения они никогда не ценили так высоко, как свои чистые умозрения.

Возможно, прежде чем оставить эту тему, я должен рассказать вам, какова была движущая сила в автоматическом механизме. Это был груз, подвешенный в воздухе на веревке над шкивом, который, как только ему позволяли соскользнуть с опоры, заставлял веревку, обернутую вокруг оси большого колеса, приводить в движение колесо, которое, в свою очередь, было соединено с другими колесами. С помощью очень большого и остроумного приспособления, поскольку все механизмы были тщательно скрыты, экспонент мог занять свое место среди зрителей и заставить невежд поверить, что весь эффект был произведен каким-то волшебством.

Не пренебрегали также законами оптики и исправлением иллюзий зрения. Евклид написал труд по этому предмету, который ныне утрачен; но похвала, данная ему компетентными людьми александрийской школы, показывает, что он был на одном уровне с другими его научными трудами. Нашей образованной публике работы греков в большинстве областей известны, по крайней мере, понаслышке; великая библиотека греческой математики, состоящая из десятков томов, некоторые из которых опубликованы совсем недавно, за исключением Евклида, абсолютно неизвестна. Тем не менее, из него почерпнуты не только те скудные научные знания, которые просочились через римлян в Западную Европу, но и те, которые были переняты арабами и которые в переводах с арабских версий пришли от них в пробуждающуюся Италию, Германию и Францию. Но позвольте мне добавить, что теперь, когда их открытия в чистой математике оцениваются в свете экспертных знаний, все те, кто действительно компетентен судить, заверяют нас, что ни в одной области знаний древние греки не проявили свою удивительную оригинальность и проницательность более явно, чем в высшей арифметике и высшей геометрии.

Следовательно, великими отцами точных наук являются в арифметике пифагорейцы, история которых слишком туманна, чтобы упоминать в ней какое-либо отдельное имя, перед Архитом - Евклид и Теон Смирнский; в геометрии - Евклид; в механике - Архимед; в конических сечениях - Аполлоний Пергский; в гидростатике - Герон; в астрономии - Евдокс и Гиппарх; наконец, последним, но не менее важным, в высшей арифметике и алгебре - Диофант; более того, все они

были людьми, которые не знали ограничивались каким-либо одним отделом, но способствовали точному мышлению во многих. Эти и другие, едва ли менее великие, оставили потомкам записи и наследие, не имеющее себе равных по своим могучим последствиям.

Но среди всех них Аристотель выделяется как “учитель знающих” — человек, достигший в средние века такой известности и авторитета, что едва избежал канонизации как святой по римскому календарю. Если это отличие действительно принадлежало благодетелям человечества, я не знаю, жил ли когда-либо на свете человек, который имел бы на него больше прав. Ибо его жизнь и деятельность знаменуют собой эпоху не только в прогрессе многих наук, но и в общей культуре человеческого разума, параллели которой я не знаю. Он воспитывался под влиянием сократического метода исследования, усовершенствованного Платоном, но, хотя в некоторых популярных произведениях (ныне утраченных) он использовал диалог как правильный метод обучения, не может быть сомнений в том, что трезвый и практичный склад его ума заставил его презирать все проволочки и прелести рисования персонажей и раскрытия темы, поскольку то, что мы имеем от него, в высшей степени просто и научно по форме. В его предложении редко бывает что-то лишнее; если и присутствует метафора, то это всего лишь яркая вспышка на фоне холодной строгости его аргументации. Он пишет как человек, у которого не было времени, чтобы тратить его впустую, и перед ним был огромный мир предметов для преподавания. Если это все еще была эпоха, когда науки не вступали на путь наблюдения и эксперимента, а были философскими спекуляциями, то Аристотель сделал больше, чем кто-либо другой, для установления разделения между философией и наукой, при этом полностью признавая то, что в наши дни игнорирует большинство ученых, что позитивная наука без основательных знаний философии склонна совершать фатальные ошибки.

Конечно, эта грандиозная программа, которую поставил перед собой Аристотель, не могла быть выполнена без широкого сотрудничества, и поэтому мы знаем, что, поскольку Платон, по-видимому, недооценивал такое сотрудничество и, следовательно, не приносил плодов своим ученикам, Аристотель, которого школа не выбрала своим преемником (я полагаю, что, как обычно, среди обычных и послушных учеников была зависть к великому оригинальному мыслителю), сформировал и стимулировал группу помощников, которые собирали специальные наблюдения в ботанике, минералогии, зоологии, физике как науке о природе. природа и другие люди, которые сформировали его взгляды на риторику и поэзию, на этику и теологию. На мой взгляд, у нас есть новый образец такой делегированной работы в ныне знаменитой *Афинской конституции*, которая была известна и цитировалась как Аристотелевская в более позднюю античность, но которая скорее является работой ученика, а не блестящего специалиста. Но тогда мы знаем, что Аристотель либо написал, либо опубликовал 158 из этих трактатов о греческих конституциях. К этому я вернусь в следующей лекции.

Теофраст, Эвдем и Аристоксен — одни из наиболее известных имен этих помощников, и от них до нас дошли ценные работы. Физическая география была доверена Дикеархусу. Все эти исследования проводились в том же духе и с тем единством целей, которое отличает школу. По-видимому, во всей области науки был только один раздел, в котором Аристотель не сделал оригинальной работы, и все же его вклад в нее нельзя недооценивать. Это была область чистой математики. Ибо мы знаем, что он поручил своему самому способному ученику, Эвдему Родосцу, написать историю того, что другие люди сделали в этой области. Эти книги по истории арифметики, геометрии и астрономии (тогда называвшейся астрологией) были хорошо известны и ценились, и современные критики заявляют, что все, что сейчас известно о более

раннем развитии математики, было почерпнуто из этого чистого и богатого источника. Еще более примечательно то, что эта часть здания, в которую сам Аристотель не внес никакого вклада, должна была быть единственной, которая пустила корни и процветала без какого-либо периода разложения. Что касается личной компетентности Аристотеля в этом вопросе, то лучшие математики заверили меня, что его нередкие упоминания математики в качестве метафоры или иллюстрации демонстрируют ясное и здоровое понимание предмета. Следовательно, это не каприз праздного поклонника, а обдуманное выражение авторитетного суждения, когда мы узнаем от него в его Рассуждениях о красоте — которую он, будучи греком, конечно, ищет в форме, симметрии и пропорции, — что высшие и благороднейшие примеры земной красоты можно найти в математике.

Евклид был почти современником Аристотеля, и поэтому перипатетическая математика нашла в Александрии новый дом и мощное развитие, которое длилось веками и не прекратилось по сей день. Но остальная часть обширной системы Аристотеля, по прошествии примерно двух поколений, похоже, попала в некомпетентные руки. Деятельность греческого интеллекта перешла в другие русла и снова стала чисто философской и этической, а не научной, как я покажу, когда буду говорить о системах стоиков и эпикурейцев.

Но была еще одна отрасль практической науки, которая, если и не была создана Аристотелем, то, несомненно, получила развитие благодаря его занятиям зоологией и ботаникой. Мы все еще рассматриваем эти науки как необходимое введение в медицину, и мы можем быть уверены, что в старые времена порядок таких исследований не отличался. Честь быть отцом рациональной медицины не нужно добавлять к другим коронам, украшающим великого мудреца. И греки, и современные люди единодушны в присуждении этой чести Гиппократу с острова Кос, где существовала старая гильдия врачей, членом которой он не был ни первым, ни последним со своим именем. Следовательно, не все труды, ныне известные как труды Гиппократов, на самом деле написаны одним человеком; ибо, как у Аристотеля, так и у Гиппократов была школа, и ученики следовали по пути учителя. Но нет никаких сомнений относительно характера и тона его учения. Мы находим даже литературное величие в его прозе, написанной не кем иным, как великим мастером. Знаменитое начало его *афоризмов*, вероятно, известно большинству моих слушателей. Но перевести это без скучных уточнений — задача непростая. Вот перефразировка: “Жизнь коротка, но мастерство развивается медленно; нужное время наступает мгновенно, но опыт ненадежен, а решение обременительно”. Каков стиль, таково и продумывание стоящих перед ним проблем. Отталкиваясь от гигиены как надлежащей основы медицины, он считает, что тех следует рассматривать как первых врачей, которые улучшили питание первобытных людей, измельчая зерно, готовя мясо и отбирая съедобные овощи. С того времени и далее рос опыт того, что является здоровым, а что наоборот. Именно этот опыт он стремится систематизировать путем тщательного наблюдения и таким образом установить законы гигиены и возможные естественные профилактические средства, предоставляемые воздухом, водой и климатом. Он тщательно анализирует подходящий вид для города и принимает решение (в тех широтах, которые он знал), что восточный вариант является лучшим, а западный — худшим. Он обсуждает качество водоснабжения и придает большое значение высоте над уровнем моря. Он ведет тщательные клинические записи случаев лихорадки — сыпного тифа, послеродовой, малярийной и подобных. Результаты этого рационального лечения болезни были далеко идущими и постоянными. Приводить вам множество свидетелей было бы пустой тратой времени. Но я приведу один пример, тесно связанный с историей моего великого колледжа и медицины в Ирландии.^[36] Основатель Колледжа врачей в Ирландии при Кромвелях и Карле II.

Джон Стерн, внучатый племянник архиепископа Ашера, сам также был теологом и метафизиком. Изгнанный из Ирландии стрессом восстания 1641 года и получивший все медицинские знания Кембриджа, он вернулся с восстановлением порядка в духе Кромвеля и стал не только членом своего колледжа (наряду с некоторыми выдающимися пуританами из Гарварда), но и выдающимся практикующим врачом в Дублине. Под его влиянием был основан Королевский колледж врачей, некогда являвшийся адъюнктом университета и с тех пор превратившийся в великую и достойную корпорацию, которая на протяжении многих поколений вносила вклад в медицинскую науку выдающихся людей.

Но Стерн, подобно Гиппократу, не только практиковал; он писал работы о жизни и смерти; он был теоретиком и философом. Этот человек, писавший с самых высоких позиций Кембриджа и Дублина в середине семнадцатого века, снова и снова говорит нам, что труды Гиппократа практически непогрешимы и являются единственным надежным руководством по медицинской науке в его время.^[37] Причины такого отношения не заставляют себя долго искать. Вся средневековая медицина была разрушена допущением сверхъестественных влияний, специальных вмешательств, действий злых духов, совпадения враждебных созвездий и прочей чепухи, над которой мы сейчас улыбаемся, но которая тогда вызывала сожаление у людей науки. Первой замечательной чертой Гиппократа является полное игнорирование любых таких влияний, как особые причины болезней или излечение. Он не боится ни призраков, ни гоблинов, он никогда не упоминает заклинания. А вот важный отрывок, который, вероятно, мало кто из вас когда-либо читал, выражающий ментальный настрой его школы. Он говорит о группе пациентов, страдающих импотенцией, которых скифы почитают и даже боготворят, причем каждый мужчина боится за себя, поскольку приписывает болезнь особому посещению своего Бога. “Что ж, теперь я также думаю, что эти болезни являются божественным промыслом, как и все остальные, но ни одна из них не является более божественной или человеческой, чем остальные, но все они однородны, и все от богов. Однако каждый из них имеет свою природу, и ничто не происходит без естественной причины”. Затем он продолжает объяснять болезнь чрезмерным занятием верховой ездой и, заметив, что она поражает богатых чаще, чем бедных, потому что последние не живут верхом, он утверждает:

Если бы эта болезнь действительно имела более божественное происхождение, чем остальные, она должна была поражать не богатых и хорошо воспитанных скифов, а всех одинаково; нет, скорее, предпочтение отдавалось бедным, если боги действительно наслаждаются честью и служением со стороны людей и соответственно проявляют к ним благосклонность. Ибо вполне естественно, что богатые приносят много жертв богам, поскольку у них есть и богатство, и почести; но у бедных жертв меньше, либо из-за нехватки средств, либо из-за отсутствия благоволения к богам, которые не благоволили им, так что бедные должны быть особо подвержены наказанию за свои проступки или ошибки. Но, как я уже говорил, эта болезнь послана небом, как и все остальные. Ибо все происходит в соответствии с природой.

Это был дух, который угас, когда греческий мир пришел в упадок, а Европа пала жертвой невежества и суеверий. Затем наступил расцвет чудотворных образов, мощей, обладающих исцеляющей силой, паломничеств, ходатайств, всей той умственной деградации, которую Средневековая церковь, отнюдь не отвергая, использовала в своих целях. Таким образом, возрождение медицинской науки было связано с восстанием против Церкви. Поговаривали, что среди каждых трех врачей двое атеистов, и даже благочестивый Стерн, о котором я

упоминал, проповедует чисто стоическое вероучение и систематически игнорирует все обряды своей церкви.

Гиппократу и его школе в свое время приходилось бороться с подобными суевериями, точно так же, как научной медицине наших дней приходится бороться с Лурдом и христианской наукой. За последние несколько лет мы восстановили из забвения руины храма и города Эпидавр, где у бога Эскулапа было знаменитое святилище и где сотни паломников собирались в поисках лекарства от своих многочисленных недугов. Об их отдыхе заботились так же хорошо, как и на любом современном курорте; театр был самым великолепным сооружением подобного рода в Греции, и там были портики, и бани, и рощи для обеспечения того комфорта и праздных развлечений, которые оказывают большое влияние на здоровье. Но, как мы знаем из насмешек Аристофана, подтвержденных множеством надписей, посвященных исцелениям, метод этих Асклепиадов сильно отставал от метода Коса; он был суеверным, а не научным. Сны и предзнаменования, амулеты и церемониальные действия все еще стояли на пути надлежащей гигиены и тщательного клинического наблюдения. Не то чтобы я отрицал возможность излечения при таком лечении. Самое скептическое изучение "анналов Лурда" показывает, что ментальные воздействия излечивают не только психические заболевания и болезни, известные как нервные, но даже те, которые казались абсолютно физическими. И то, что Пресвятая Дева делает для верующих Лурда, несомненно, может быть сделано под влиянием более человеческих и осязаемых причин. Эти признания, которые я делаю свободно, не изменяют мнения, которого сейчас придерживается каждый истинный человек науки. Это мнение Гиппократа и его школы, и то, что он стремился утвердить своей теорией и практикой. Великая истина о том, что работа - это то, что истощает организм человека, и что пища восполняет эти отходы, была четко изложена в их практике. Не менее важный принцип, гласящий, что ни один орган не сохранит здоровья и силы без выполнения своих естественных функций и что при неиспользовании он сморщится или придет в упадок, также был четко выражен. Они даже догадывались, что величайшей проблемой медицины (которую им не удалось решить) был переход от неорганических веществ к органическим.

Конечно, бесполезно говорить, что эти практикующие не были обременены и скованы множеством ложных догадок, многими мнимыми открытиями, многими беспочвенными спекуляциями их предшественников. Но как знаменитая клятва, которую давал каждый практикующий врач в школе Коса, ясно выражает высокую моральную цель, с которой даже сейчас врач приступает к своей благородной работе, торжественное заявление о том, что он не будет злоупотреблять своим влиянием или близостью ни в одном доме в эгоистичных или аморальных целях, так и в своих научных целях эти греки стремились продвинуть человеческие знания, честно записывая свои наблюдения, даже рассказывая о своих неудачах, и стремясь оставить после себя такие клинические работы, которые могли бы просветить не только преемников, но и противников. Если мы сравним это поистине скромное и научное отношение с отношением врачей, которых бичевал Мольер и чья практика слишком хорошо известна нам из подробных отчетов об их лечении пациентов королевских особ или даже королевских кровей, мы снова приходим к выводу, что если грекам и не удалось научить современную Европу, то не из-за недостатка богатых предложений и великолепных предвосхищений современной науки.

Вряд ли мне нужно говорить вам (в заключение), что я не ограничился лишь касанием краев этих обширных тем; я намеренно опустил такие обширные темы, как *оптика* и исправление оптических иллюзий, чего греки достигли с помощью тонкого использования кривых, не просто

сечений большого круга, но особенно с помощью конического сечения, все еще известного под греческим названием гиперболы. Я ничего не сказал об их астрономии с ее предсказанием затмений, ее применении к календарю и использовании в качестве основы научной географии. Если бы я попытался вплести все эти вопросы в настоящую лекцию, я, должно быть, дал бы вам калейдоскоп, а не картинку. Главный факт, который должен произвести на вас впечатление, заключается в том, что великие триумфы греков в искусстве и литературе не были достигнуты без строгого обучения трезвому мышлению и тщательной аргументации. Говорят, что Платон поставил первым условием поступления на курс философии изучение геометрии учеником.

Именно в соответствии с этим принципом в наших старых университетах каждый студент, хотя бы он и был специалистом по классике, должен был продемонстрировать адекватные знания математики. Ни один человек в Дублинском Тринити-колледже не может получить степень по языкам, не получив специального образования в области чистой математики, физики и астрономии. Такое образование давали греки. Поскольку мы отошли от этого в нашем образовании; поскольку мы заменили обдуманность спешкой, количество фактов качеством знаний, разнообразную информацию систематическим мышлением, до сих пор мы делаем современную культуру бессильной соперничать с их совершенством.

VII

ПОЛИТИКА—СОЦИОЛОГИЯ—ПРАВО

Нет такой сферы греческой жизни, где мы ощущали бы ее современность более остро, чем когда мы переходим к рассмотрению политической и социальной философии. Греки и римляне, которые учились у них, пишут и говорят как совершенно современные люди; рассуждения Аристотеля и трактаты Цицерона вполне подходят для того, чтобы рассказать нам в наши дни о возможностях организации человеческого общества. Права женщин, например, - тема, с которой они были прекрасно знакомы. Переходите к тому, что справедливо называют Темными веками или ранним средневековьем, и вы почувствуете, что мир ушел на столетия назад, а не вперед. Господство суеверий, тирания священника, страдания крестьян, инфантильность искусства, полный застой литературы, замена свободных городов крепостями, закона насилием, дикой грубости изысканной вежливостью — таковы поразительные условия Европы, большая часть которой когда-то наслаждалась настоящей цивилизацией.

Среди других причин этого странного регресса в истории не последней является исчезновение греческой жизни и культуры на Востоке, где Константинополь все еще придерживался великих эллинских традиций, по крайней мере, в законодательстве, языке и искусстве. Все, что римская жизнь и мысль позаимствовали у Греции, не смогло сделать латинскую культуру плодотворной и постоянной, потому что оно *было* позаимствовано у Греции и на самом деле не ассимилировано; так что получилось, что по сравнению с яркостью и жизнерадостностью греческой культуры господство латыни в цивилизованной Европе было эпохой застоя, формализма, интеллектуальной бесплодности, окостенения. Пока римляне были всего лишь послушными учениками греков, они добились больших успехов в искусстве жизни; как только они почувствовали себя признанными хозяевами мира и стали смотреть на своих учителей свысока, их врожденная грубость и недостаток гениальности начали давать о себе знать, и если бы не влияние восточного вероучения, привитого им греками, они бы скатились вместе со своими захватчиками-варварами в интеллектуальную ничтожность.

Когда мы исследуем причины, благодаря которым политика стала столь развитой чертой греков, мы в первую очередь обнаружим, что даже в обществах Родины привычка к открытому обсуждению является ведущим фактом повседневной жизни. Существует своего рода инстинкт, требующий, чтобы все было обговорено и аргументировано, настолько, что сам король, который принял решение со своим советом и обладает достаточными полномочиями для его выполнения, не сделает этого, не созвав собрание солдат в лагере или свободных граждан на рыночной площади и не попытавшись получить их одобрение путем аккламации. Это собрание, созванное для одобрения, без какого-либо права голоса или отмены решения князя, рассматривается всеми историками как зародыш давно следовавших верховных собраний граждан в каждой греческой демократии. Кажется, в устах царей даже звучали утверждения об абсолютной власти в некоторых старых текстах *"Илиады"*, которые были удалены редакторами, конечно, не александрийскими, для которых такое утверждение не могло содержать оскорбления, но более ранними редакторами, которые готовили стихи для вольных городов Греции.[38]

Следующим стимулом развития политики стало сосуществование множества небольших городов-государств площадью всего в несколько квадратных миль, каждое из которых было небольшим владением, где ни один царь не мог поддерживать тайну уединения или препятствия в виде торжественного этикета, которые Ксенофонт считал необходимыми условиями великой абсолютной монархии персов. Так получилось, что старые права собственности, о которых Аристотель говорит нам, были наследственными и ограниченными[39] поскольку они служили образцом для более поздних наций в условиях конституционного права собственности, они перешли, часто без революции, к аристократии, которая была ведущим типом во всем цивилизованном мире как в классические, так и в средневековые времена, пока массы людей были слишком невежественны, чтобы взять на себя их управление общественными делами. Аристотель говорит нам, что массы легко остаются спокойными и довольными при условии, что они обеспечены работой и комфортом благодаря хорошему управлению со стороны немногих. Такой пример, с которым вы все знакомы, - Венецианская республика, которая, подобно древнему Карфагену, долгое время сохраняла без серьезных внутренних потрясений значительную империю с населением, занятым и богатым своей торговлей.

Там, где насилие или эгоизм немногих власть имущих, которые были потомками старинных дворянских семей, некогда составлявших королевский совет, или которые сами были местными вождями, — там, я говорю, пренебрежение или насилие этих людей порождали невыносимые трудности, мы имеем кровавые революции, поначалу обычно под руководством амбициозного ренегата или солдата благородного происхождения, которые настраивали массы против классов. Позже массы были достаточно сильны, чтобы совершать свои революции конституционными или полуконституционными средствами, и таким образом получили политическую власть, которую они редко могли сохранить, не предав смерти или изгнанию лидеров знати. Читатель Фукидида или Ксенофонта вспомнит, каким образом изгнанники совершали контрреволюции и таким образом запятнали лицо Греции насилием и кровопролитием. Эти сцены насилия играют настолько большую роль в нашей греческой истории, что вы удивитесь, как такие люди могли быть образцом для других в методах политики, и именно по этой причине я считаю необходимым обратить внимание на этот вопрос. Если мы посмотрим глубже, мы обнаружим, что элементы порядка так и не были искоренены, и что

преступления лидеров общества не заразили здравый смысл или не разрушили безопасность массы людей до общего упадка во времена Полибия и римского вмешательства.

Что это за свидетельство? Его нельзя найти, не поразмыслив, ибо, как я уже сказал, оно находится под поверхностью. Нет более распространенной фразы в устах греческих революционеров или в устах тех, кто их боялся, чем “отмена долгов и передел земли”.^[40] Аристотель упоминает их как лозунг лидеров мафии. Но когда много лет назад покойный Генри Сиджвик из Кембриджа попросил меня найти ему реальные примеры такой революции в подлинной греческой истории, я хорошо помню свое собственное удивление, да и его тоже, когда я сказал, что ничего подобного найти нельзя. Возможно, что-то подобное происходило во время великих сицилийских смут, когда тиран изгнал старое свободное население и заселил город окрестными холопами и своими наемными войсками; но на общем фоне греческой истории и в записях хорошо известных государств вы не найдете ни одного примера.^[41] Наиболее радикальной мерой, на которую я могу указать, является сокращение задолженности на двадцать семь процентов. Солоном, который был очень консервативным государственным деятелем и больше всего заботился о том, чтобы сохранить торговый добродетель своего города. Поскольку в его время общественный кредит Афин не пострадал, ясно, что долги, уменьшенные благодаря этой исключительной помощи, должны были быть только долгами класса, вероятно, долгами бедных фермеров или чернорабочих перед их деспотичными землевладельцами. Если это так, то оно было не более жестким, чем нынешнее земельное законодательство английского правительства в Ирландии и Шотландии, где годовая арендная плата арендаторов, в нарушение старых и официальных частных контрактов, была урезана государством, часто на целых двадцать семь процентов.

Греки были великими торговцами на море и суше, и никакая торговля не может вестись без гарантированного государственного кредита. Если инвестиции не будут достаточно надежными, ни одно торговое общество не сможет процветать. Обычная процентная ставка в Греции, двенадцать процентов. на первый взгляд, кажется свидетельством ненадежности. Ничего подобного. Это было не выше среднего процента^[42] в Риме, когда этот доминирующий народ управлял мировой торговлей и обеспечивал себе максимальную безопасность. Разница между этим и нашими тремя процентами. возникает из-за общего дефицита в то время больших состояний в деньгах из-за сложности транзита и несовершенного знания символической валюты. Банками и переводными векселями они обычно пользовались, но одалживать деньги гражданам соседнего государства, живущим по другим законам и со странными судами, никогда не было легко, и поэтому области кредитования и заимствования не были такими, как сейчас, на целом континенте или даже на всем земном шаре. Вы могли бы представить себе такое положение вещей здесь, в вашей стране, если бы каждое государство было вынуждено искать инвестиции в своих собственных пределах, и в этом случае вы вскоре могли бы найти процентную ставку на импортируемый капитал не ниже, чем у греков.

Существовала еще одна сильная сдерживающая сила, которая, должно быть, всегда сдерживала революционные порывы греков. Это было существование во всех крупных городах большого количества рабов. Мы знаем из истории как Аргоса, так и Спарты, что это было постоянной опасностью для свободного населения, и мы можем быть уверены, что во многих случаях свободные люди улаживали свои разногласия или, по крайней мере, смягчали свою победу над своими противниками, вместо того, чтобы рисковать тем, что и те, и другие будут покорены иностранным элементом.

Возможно, вы скажете мне, что тот факт, что весь греческий мир держал рабов, является еще одной устаревшей точкой зрения, которая мешает им быть подходящими учителями для современных наций. Но мне этот вопрос не кажется таким простым, и, возможно, учитывая опыт последних сорока лет, даже у американской общественности, у которой есть время для размышлений, могут возникнуть некоторые сомнения по этому поводу. Такой великий мыслитель, как Аристотель, совершенно ясно понимал это; он верил, что существуют низшие расы, пригодные только для того, чтобы ими управляли, а не для того, чтобы ими управляли, и он считал, что это было для их блага, когда они принуждались высшим интеллектом и образованностью греков. Насколько я знаю, он ничего не говорит о многих рабах, которые были греческими военнопленными, но из его общих взглядов ясно, что он не одобрил бы эту форму рабства. Позвольте мне добавить в этой связи, что он неоднократно говорит аналогичные вещи о тех, кто занят низшими ремеслами, такими как лудильщики или сапожники, которые отнимают все их время и не оставляют им досуга для самообразования или изучения высших вещей. Он считает, что эти рабочие совершенно непригодны для того, чтобы принадлежать к правящему классу любого государства, и утверждает, что где бы они ни пришли к власти, это было при крайней демократии, которая вскоре продемонстрировала пороки такого рода правления.

Вы должны помнить, что в небольшом греческом государстве, состоявшем из города и территории площадью двадцать или тридцать квадратных миль, никогда не считалось необходимым выбирать представителей на местах и направлять их в центральное собрание. Гражданин должен был сам пойти в собрание и провести там свой день; он мог быть выбран (часто по жребию, что не считалось удобным) для исполнения административных или судебных обязанностей. Было очевидно, что те, кто обязан зарабатывать себе на хлеб насущный, должны отойти в сторону и позволить более праздным классам выполнять эту работу. Более того, этот праздный класс значительно расширился за счет существования рабов, поскольку даже бедный афинянин выполнял за себя физическую работу и, таким образом, имел необходимое время для выполнения общественных обязанностей. Греки никогда не мечтали о том, чтобы давать своим судьям или политикам большие зарплаты, как это делаем мы, считая, что государство имеет право требовать всю жизнь и энергию своих граждан. Друг от друга эти граждане были полностью защищены законами; не было никакой защиты от требований государства, даже когда они требовали пожертвовать самой жизнью.

Учитывая общее умонастроение вдумчивых греков и великую цель самого совершенного государства - обеспечить счастье и, следовательно, конечно, свободу массы своих граждан, нам не нужно удивляться, что они с самого начала уделяли постоянное внимание разработке своих законов, так что они предложили сначала римлянам (которые использовали Аттический кодекс при составлении Законов XII Таблиц), а затем и другим нациям образцы разумного законодательства. Все их теоретики далее недвусмысленно настаивали на том, что успех любого свода законов должен зависеть от просвещенности общественности, которая ими пользуется. Поэтому я продолжаю кратко говорить о трех аспектах греческого законодательства: *уголовном, гражданском* том, что я могу назвать *международным*, чтобы прояснить, во многих отношениях греки были нашими хозяевами, чтобы мы все еще могли изучать их методы правления с пользой. Уголовное право, естественно, стоит на первом месте, поскольку самой насущной потребностью цивилизованной жизни является общественная безопасность, позволяющая гражданину передвигаться, когда и где ему заблагорассудится, не опасаясь личного насилия или даже того, что он станет свидетелем насилия. Греки были настолько хорошо осведомлены об этом, что не считали ни одно государство цивилизованным

до тех пор, пока люди полностью не откажутся от привычки носить оружие, и если бы Аристотелю или Фукидиду сказали, что в Америке многие уважаемые граждане свободных штатов все еще ходят вооруженными, они бы сказали: “Когда-то это было принято и в Греции, но теперь мы цивилизованны и считаем такую практику по сути варварской”. Если бы существовала хоть какая-то вероятность его возрождения, они, несомненно, ввели бы за это уголовное наказание, и так, по-видимому, следует поступать в любой стране, где потеря человеком самообладания может привести к потере его жизни, а также жизни других людей. В современной Европе мы, к счастью, достигли этой стадии, и даже в Ирландии, где людям часто угрожают из-за аграрных споров и где их защищает полиция, остальное население безопасно разгуливает днем и ночью, в многолюдных городах и в безлюдных дебрях, даже не думая о ношении оружия.

Аттический закон, олицетворяющий высочайшее, а также чистейшее греческое чувство, чрезвычайно ревностно относился не только к безопасности, но и к достоинству гражданина, и любое нападение на улицах, даже если оно не причиняло опасного вреда, строго каралось законом. Как и в современных обществах, даже грубое прикосновение к человеку или против его воли каралось как нападение, и если человек, подвергшийся нападению, выполнял какой-либо официальный долг перед государством, преступление могло рассматриваться в свете *неуважения к величеству*, или государственной измены достоинству.

Смертная казнь действительно применялась, особенно в старых кодексах, с частотой, напоминающей нам европейские кодексы столетней давности. Но что касается граждан, то было два смягчения, которые сделали даже эти суровые законы более мягкими и цивилизованными, чем большинство наших. Во-первых, осужденному, как правило, предоставлялись льготы на побег через границу, и, за исключением случаев тяжких преступлений против государства, об экстрадиции не задумывались. Изгнание, конечно, было суровым наказанием, поскольку означало проживание за границей в качестве иностранца, не защищенного гарантиями, которые распространялись на окружающих его граждан. Во-вторых, способ, которым был приведен в исполнение смертный приговор, был бесконечно более гуманным и вежливым, чем наши отвратительные казни. Случай Сократа, без сомнения, знаком всем вам. Его освободили от цепей, чтобы он мог поговорить со своими друзьями, а чашу с ядом поставили рядом с ним, чтобы он выпил ее до захода солнца. Даже тюремщик представлен как гуманный и гражданский человек, который выполнял свои функции со всем тщанием. Я не буду отрицать, что эти очень продвинутые черты греческого права контрастировали с некоторыми все еще варварскими пережитками; я имею в виду пытки рабов и суровость вынесения смертного приговора большинством одного присяжного в очень большом составе. Но пережитки варварства были лишь вчера достаточно частым явлением среди нас самих.

Давайте теперь обратимся к характеристикам *гражданского* права, под которым я подразумеваю законы, регулирующие владение имуществом, заключение контрактов и передачу прав по завещанию. Я не вижу во многих контрактах, которые мы заключаем с Грецией или из египетской Греции, когда там поселились греческие иммигранты, чтобы общий дух или точность этих документов отличались от современных, за исключением того, что штрафы за нарушение контракта кажутся намного суровее, чем у нас. В случае денежного обязательства должник, не вернувший долг в установленный срок, обычно подвергался пятидесятипроцент-ному штрафу. за свою задержку. Возможно, было много случаев ссуды натурой, *например*, семенной кукурузы, когда такое взыскание не было необоснованным,

поскольку есть вещи, которые очень ценны в определенное время года и которые после этого должны лежать бесполезными в течение многих месяцев. Но в целом я думаю, что греческая идея соблюдения контракта была более строгой, чем наша, а закон - более суровым. Так было и с римским правом, которое было заимствовано из греческого.

В столь беглом обзоре обширной темы я могу выбрать только один или два момента в качестве иллюстраций и говорить о них как о образцах общего просвещения эпохи. Поэтому я перехожу к конкретному классу документов, о которых мы теперь знаем очень много, особенно благодаря большому количеству документов, которые мне посчастливилось обнаружить в 1890 году. Это греческое завещание. Судебные иски, касающиеся таких документов, также составляют большинство речей Исея, сборник которых был отредактирован с большим мастерством и ученостью мистером Уильямом Уайсом из Тринити-колледжа в Кембридже. Раньше считалось, что всем этим вопросом с завещанием мы обязаны римлянам. Теперь кажется вполне очевидным, что в этом, как и в большинстве других аспектов жизни, римляне передали нам только то, чему их научили греки.

В большинстве ранних государств лишь постепенно и не без некоторой ревности индивиду разрешается завещать свою собственность так, как ему заблагорассудится. Сначала он рассматривается как член клана, к которому его собственность возвращается при определенных фиксированных условиях; позже государство контролирует ее разделение между ближайшими родственниками наследодателя и не допустит никакой передачи ее незнакомцам, тем более тем, кто не является гражданином. Можно сомневаться в том, что греческие государства когда-либо предоставляли абсолютную свободу своим гражданам в этом вопросе, поскольку интересы государства гораздо более ревностно охраняются в этих небольших государствах, чем в крупных современных государствах, когда случайное злоупотребление такой властью не наносит серьезного общественного вреда, а лишь вызывает умеренное порицание. Но вся форма завещаний, которые мы имеем в египетских папирусах, и примеры которых у нас есть в каменных надписях, таких как запись завещания некоей Эпиктеты, которая завещала свое имущество общественным и религиозным объектам, совершенно современна. Здесь я процитирую вам обычную формулу. Сначала идет дата в соответствии с годами правления королей или одноименных магистратов. Затем: “Такова воля Пейсия Ликийца, сына Х., в здравом уме и обдуманном намерении. Пусть моим уделом будет продолжать жить в здравии и управлять своим имуществом, но если со мной случится что-нибудь человеческое, я завещаю моим детям столько-то, моей жене столько-то вещей (часто указывая статьи), я освобождаю определенных рабов, я выделяю деньги на религиозные цели. И я назначаю душеприказчиками таких-то людей”, в случае с солдатами в Египте обычно это царь, царица и их дети; затем следуют имена нескольких, часто семи или восьми, свидетелей.^[43] Эти привычки, подразумевающие оседлое общество с обычными привычками и традициями, распространились из Греции в греческий Египет за три столетия до Рождества Христова. Нет сомнения, что они распространились подобным образом не только на запад, но и по всей Малой Азии и Сирии, поскольку в этих регионах они еще не были в моде. Я только добавлю, что если вы хотите прочитать, насколько четко и тщательно было рассмотрено и принято решение по долгому делу, связанному с иском грека в Египте против местной корпорации, вы найдете это в Папирусе I Турина^[44], который был опубликован много лет назад Амедеем Пейроном и который следует переиздать и облегчить доступ. У нас есть полное окончательное решение суда, написанное на многих страницах по-гречески. Запись, должно быть, была найдена нетронутой в глиняном сосуде, в котором она хранилась. В нем рассказывается о судьбе дела с

самого начала, за сорок лет до вынесения решения. В нем приводятся более ранние решения и краткое изложение приведенных новых доказательств; и он подводит итог всему и выносит решение в пользу местной корпорации против грека с четкостью, которая не могла быть превышена Верховным судом Америки. Каждое слово в нем говорит о строгом законе и простом здравом смысле. Это был случай противоречивых доказательств, и они взвешены с абсолютной справедливостью. В нем нет ни слова о суеверии, о призывах к провидению богов или к какому-либо авторитету, выходящему за рамки образованного человеческого разума. Как таковой, это документ абсолютно современный в высшем смысле этого слова. Таким был тон гражданского права, переданный Грецией последующим векам.

Теперь я перехожу к более широкой теме, представляющей еще более постоянный интерес, — урокам греческой истории, касающимся международных отношений соседних цивилизованных государств или отношений одного более сильного государства к другим, менее сильным или по размерам. Состояние Греции на протяжении всей ее ранней истории предоставляет уникальное поле для изучения международного права; поскольку эти многочисленные небольшие города, какими мы их считаем, были совершенно разными политиями или государствами, каждое из которых жило по своим собственным законам и традициям и так же отделено друг от друга по идее, как столицы любых двух современных королевств. На практике разделение было еще большим, поскольку смешанные браки между их гражданами или приобретение собственности гражданами другого государства противоречили духу эпохи и, как правило, были запрещены законом. Таким образом, количество договоров, союзов, распрей между этими городами-государствами было не только огромным, но и предлагало все разнообразие, настолько большое, что если вы посмотрите на любое хорошее издание самого раннего европейского труда по такого рода праву, знаменитого трактата Гуго Гроция "*Закон о мире и войне*", вы обнаружите, что большая часть его иллюстраций взята из греческой истории и признана греческой на полях текста. Давайте сначала обратимся к вопросу о войне.

Еще со времен Гомера росло чувство, которое смягчало тяготы войны между эллинскими народами. Отравленное оружие не допускалось, и если пленники становились рабами победителей, выкуп был очень распространенным, и, согласно Геродоту, существовал даже признанный тариф — две *мины* — принятый по всему Пелопоннесу за освобождение такого пленника. Я не стану притворяться, что войны даже Золотого века не были намного ожесточеннее и жестокее, чем кампании "розовой воды", которые мы ведем сейчас, когда жены и дети врага обеспечены комфортом, и, соответственно, его поощряют затягивать конфликт, который затрагивает только его личные удобства. Ибо война - это шокирующая вещь, и подслащивать ее такими приятностями - значит только увеличивать стоимость жизни и сокровищ для победителя. Но если бы вы сравнили греческие войны с войнами первых веков современной Европы, скажем, с Тридцатилетней войной в Германии, вы бы обнаружили, что баланс сил человечества определенно на стороне греков. Мирные жители взятого штурмом греческого города, хотя по законам военного времени они и становились рабами, находились в гораздо лучшем положении, чем несчастные жители немецкого города, захваченного пандурами и хорватами Тилли или Валленштейна. Я с радостью оставляю эту печальную тему. "Война, - говорит Фукидид, - это суровый распорядитель, который делает сердца людей такими же черствыми, как и обстоятельства".

Давайте приступим к более благодарной и поучительной задаче - международным отношениям греческих государств в условиях мира и, в частности, к их политическим объединениям или союзам для защиты от внешних опасностей. Было очевидно, что ряд отдельных небольших городов-государств должны находиться во власти сильных захватнических сил, которые могли бы завоевывать их один за другим, и что поэтому комбинации и союзы между ними были абсолютно необходимы. Такие комбинации также могли быть использованы в наступательных целях, как это было в случае с гомеровской концепцией осады Трои, и поэтому в последующие времена многие греческие теоретики фактически рекомендовали эту политику как двигатель завоевания, того самого завоевания, которое осуществил Александр Македонский. Но долгое время союзы заключались только на время и для отражения неминуемой опасности, и вскоре они снова распадались, как правило, из-за возврата обеих сторон к эгоистичной и ревнивой политике изоляции. Начиная с седьмого века до нашей эры, растущее могущество Спарты создало своего рода полуоязательный союз между меньшими городами Пелопоннеса, а позже, после окончания кризиса персидской войны, азиатские греки подчинились руководству Афин. Позвольте мне назвать это техническим названием - *гегемония*. Это был союз при президентском государстве, который должен был направлять политику лиги во время войны, но не должен был вмешиваться в деятельность нескольких государств в мирное время. Вы все знаете, как ведущая держава постепенно посягала на свободы союзников, которые действительно стали подданными, платящими дань; и когда они попытались восстановить свою прежнюю независимость, Афины восприняли это как восстание и подавили военной и морской силой. Поведение Спарты, когда она унаследовала гегемонию Греции, ничем не отличалось; возможно, оно было более жестким, и поэтому мы имеем огромное количество протестов против тирании этих ведущих государств и их "порабощения" остальной Греции. Они, со своей стороны, указывали на необходимость союза для предотвращения иностранного господства; они указывали на труды и жертвы, которым подверглись граждане ведущего государства, на безопасность морей от пиратов, на рост торговли и репутации греческой цивилизации, все это было создано их усилиями; но обычно это приводилось в конце аргументации: получив свою власть, они намеревались сохранить ее.

Тогда возник важный конституционный вопрос, который до сих пор остается предметом споров в прошлом столетии. Предположим, что несколько независимых государств объединяются для достижения общих целей и создают торжественную лигу или союз; законно ли для какой-либо из договаривающихся сторон выходить из союза, если она считает, что ее свободы ущемлены? Мне нет необходимости принимать во внимание дальнейшее осложнение, когда некоторые из вовлеченных государств были созданы впоследствии союзом и для союза, фактически были дочерьми, а не матерями союза. Вы знаете, что в этой стране конституционная проблема была решена только в результате большой войны, и это было всего лишь отголоском такого же конфликта, характерного для Греции. И все же тон и характер мира изменились за этот долгий промежуток времени. Создание и успех многих великих государств побудили людей оценить полученные таким образом преимущества, и хотя существовало и до сих пор существует сильное чувство в пользу малых национальностей, вызванное большим — вы помните настроения всей европейской прессы во время недавней англо—бурской войны, - все же в целом имперская идея не является непопулярной. В Греции все было наоборот. С начала и до конца право небольших членов союза на отделение всегда поддерживалось в теории и приводило к фатальным результатам на практике.

Та же самая проблема приняла несколько иную форму, когда двенадцать незначительных ахейских городов объединились в Ахейскую лигу, которую Полибий сделал столь знаменитой. Совет и руководящие должностные лица избирались на собрании, созванном в одном из городов, куда имели право посещать все члены Лиги, но посетить которое, конечно, могли позволить себе только досужие люди. Более того, каждый город имел один коллективный голос, так что количество голосов не имело прямого значения. Заседания были ограничены тремя днями и делами, подготовленными для них исполнительной властью. Вся схема (которая была ранним и превосходным эссе в "Федерации", много изучавшимся основателями Американского союза) потерпела кораблекрушение из-за вопроса, имеют ли отдельные штаты право заключать отдельные соглашения с державами, чуждыми Лиге. Совершенная внутренняя независимость, конечно, была необходима для греческих идей, но то, что должна быть допущена сила отдельных союзов с иностранными державами, кажется нам абсурдным. Тем не менее чувства греков здесь, как и везде, были в пользу этой абсолютной независимости, и поэтому Лига была распущена на части вмешательством ревнивых или амбициозных соседей.

Таким образом, вы имеете конгломерат цивилизованных сообществ, говорящих на одном языке и со схожими идеалами культуры, не разделенных враждебными вероисповеданиями и обладающих способностью, когда они объединены, оказывать доминирующее влияние на окружающий мир; и все же их могущество и развитие парализованы взаимной завистью и постоянными ссорами, приводящими к частым и опустошительным войнам. У нас вообще нет параллельных случаев в Европе, за исключением состояния Италии в эпоху Возрождения и Германии в середине прошлого века. Когда я был мальчиком и мы путешествовали в экипаже по этой стране (железных дорог тогда еще не было), мы за день проезжали через целое княжество и пересекали границу с таможенными, новым флагом и часто новой чеканкой монет. Тогда, я полагаю, в Германии было шестьдесят шесть правящих особ — великих герцогов, курфюрстов и т.д. Вы знаете, как все они были либо поглощены, либо сведены в одну империю, либо им было позволено продолжать жить как вассальным государствам, если использовать довольно жесткое слово, в течение нескольких лет. Именно это в конечном счете и произошло в Греции, где македонская держава сыграла роль, аналогичную роли Пруссии, и благодаря успешной войне против иностранной державы стала не только признанной, но и популярной. Важный момент, в котором Греция дает современным нациям дополнительный урок, заключается в следующем: Революционные или импровизированные монархии в таком случае не добьются успеха. Греки, особенно в Малой Азии и на Сицилии, где существовала опасность со стороны иностранных держав, пришли к выводу, что монарх необходим для объединения их в сильную военную и финансовую державу, и поэтому они снова были готовы подчиниться тиранам или деспотам, как это было в старину, когда они хотели разрешения междоусобных споров между классами и массами. В этом направлении было сделано несколько блестящих эссе, особенно Дионисием Сиракузским и Мавсолом Галикарнассским. Но им не удалось основать династию, как не удалось и Бонапартам, несмотря на их величие и дарованные ими блага.

Таким образом, не только достижения, но и неудачи греков могут преподать нам ценные уроки, потому что они составляли совершенно "современное" общество и страдали от слабостей и пороков подобных обществ.

Поскольку это последнее утверждение может показаться некоторым из вас парадоксом, я продолжу в заключение, чтобы проиллюстрировать его некоторыми наблюдениями за состоянием греческого общества, описанным нам Аристотелем и Полибием. Первый, описывая

свой идеал (ибо он еще не отказался от него) небольшого, хорошо организованного государства, управляемого в интересах большинства граждан хорошими законами и гуманными правителями, делает своим *непременным* условием, что средний класс должен перевешивать по общественной значимости как богатых, так и неимущих. Это было именно то состояние, которое во времена Полибия становилось все более и более редким, более того, практически неизвестным. Это был тот самый класс, который быстро исчезал из каждого государства Греции. И почему? Экономические условия менялись, и из-за большого притока золота с Востока и по другим причинам жизнь становилась дороже с каждым днем. Предметы роскоши также стали рассматриваться как предметы первой необходимости, и поэтому для бедных, которые получали взятку в виде большого жалованья и больших вольностей, предлагаемых им на наемной службе у эллинистических царей, эмиграция стала правилом, а нехватка рабочей силы превратила земледелие из сельскохозяйственного в скотоводческое. Следовательно, средний класс, у которого не было капитала для работы на крупных фермах, становился беднее, а богатые - богаче и эгоистичнее.

И какое средство было принято средним классом, чтобы поддерживать себя в комфорте? Прием, небезызвестный в этой стране и по не очень разным причинам. Это было ограничение семьи, уклонение от обязанностей и затрат на воспитание детей, так что Полибий говорит об этом как о характерной черте Греции его времени — странном бесплодии, постигшем некогда плодovitых жителей страны. Такого несчастья можно избежать только при наличии большой иммиграции, и даже тогда это приводит к замене старого населения, сливок страны, отбросами, собранными из-за границы. Не было никаких стимулов для иммиграции в Грецию, и поэтому страна, которая когда-то изобиловала населением, погрузилась в сон и упадок.

Могу ли я предложить вам более ясное доказательство современного характера этой цивилизации, у которой были не только юность и золотой век, но затем серебряная осень или мартиновское лето, когда Плутарх жил в своем маленьком заброшенном городке, окруженный полным и ужасающим упадком? И, возможно, будет нелишним напомнить вам, что даже при большой разнице в возрасте, месте и обстоятельствах одни и те же моральные причины, которые приводят к упадку в одной цивилизации, скорее всего, приведут к нему и в другой.

Общества, впавшие в эти пороки, не были невежественными или необразованными. Среднестатистическая греческая публика, вероятно, была лучше подготовлена к знакомству с великими идеями и получению удовольствия от великой литературы, чем любая другая публика в наши дни. Грот совершенно сознательно сказал, что обычный гражданин Атики, посещавший собрания, где выступали Перикл, Терамен и Демосфен и где многие другие люди подобной культуры участвовали в дебатах, — что такой человек был более образован в политическом смысле, чем средний член Палаты общин в свое время; и Грот занимался делами этой Палаты в течение десяти лет своей жизни. Более того, тогда это было собрание английских джентльменов, представителей среднего и высшего классов, с ярко выраженным аристократическим привкусом. Какой язык использовал бы он, если бы сравнил своего гражданина Перикла с Палатой общин двадцатого века? Но в любом случае, одно мы можем сказать с уверенностью, и это один из величайших уроков, которые греки должны преподать нам: интеллектуальная культура сама по себе не является надежным противоядием от упадка в любом обществе — нет, даже в обществе Бостона, штат Массачусетс.

Нравственные условия утонченной аттической жизни в эти умирающие дни лучше всего известны по останкам или по латинским переводам светских пьес знаменитого Менандра. Жизнь, описанная Менандром, обсуждалась и оценивалась в одной из глав моей книги *"Греческая жизнь и мысли"*, и там вы наконец увидите, насколько тривиальной, эгоистичной, безнравственной, неблагородной была эта жизнь. Если таков был истинный характер аттического общества во времена Менандра, мы вполне можем поздравить мир с тем, что македонский завоеватель восстал, чтобы показать миру, что существуют идеалы более возвышенные, чем коротать время в прогнивших изысках упадочных Афин.

Когда я писал эту главу, мы все еще полагались в своей оценке Менандра и его общества на латинские переводы или адаптации Плавта и Теренция, и были те, кто думал, что римские адаптеры выбрали тривиальную сторону общества, которое могло быть не только утонченным, но и серьезным и вдумчивым. Недавнее обнаружение в Египте больших фрагментов четырех пьес на свитке папируса развеяло все подобные надежды. Та же тривиальность, то же глупое повторение вульгарных и аморальных сюжетов и тем встречает нас на протяжении всех этих сцен. Если и есть какой-то моральный урок, который несет в себе представленная нами картина аттического общества, так это то, что рабыня и проститутка были не только более умны, но и менее аморальны, чем их хозяева. Во всех этих так называемых картинах жизни не фигурирует ни одна мало-мальски выдающаяся личность — ни один философ, или политик, или поэт, или литератор, или благотворитель, — хотя мы знаем, что стены храмов и городов были увешаны панегириками выдающимся гражданам и их гражданским и частным добродетелям. Никогда не обсуждается ни одна проблема религиозного или политического значения. В новых фрагментах нет даже того богатства вульгарной мудрости пословиц или сентенциозности, выдающей себя за мудрость, которое было почерпнуто из пьес Менандра прилежными коллекционерами и которое, сохранившись в тысячах строк, придало ему ложное значение в истории греческой литературы. Но здесь, как и везде, по прошествии веков зерна были отделены от плевел; позднейшие схолиасты и комментаторы собрали у Менандра случайные драгоценные камни, как можно было бы выбрать из множества веселых, но глупых леди настоящие бриллианты, которыми она украсила свою никчемную персону.

Что касается греческой политики, которая является нашей сегодняшней темой, то это не праздное отступление. Ибо это ясно показывает нам, что высшее общество Афин отказалось от этого великого человеческого интереса и таким образом сузило и обеднило свою духовную жизнь. В нашей истории принято повторять, что рост могущества Македонии, эллинистических царей, Римской республики уничтожил всякую возможность какой-либо серьезной греческой политики, и что в результате серьезные люди были втянуты в антисоциальную философию дома, а активные люди - в наемническую службу за границей. Во времена Менандра и долгое время после него у честных и способных людей все еще было много работы по спасению свобод и достоинства их родных городов. Столетие спустя Полибий показывает, что полное разорение Греции и катастрофическое завоевание Муммием были вызваны главным образом безумием и жестокостью глупых и коррумпированных демагогов. Но эти демагоги были наделены официальной властью голосами тех, кто все еще занимался политикой, когда лучшие классы с отвращением удалились. Если это отвращение относится ко временам Менандра, то мы можем только размышлять о том, что те, кто отказался от своего влияния в дни процветания своей страны, вряд ли вернут его, когда наступит кризис и когда массы найдут себе других лидеров.

Я был свидетелем очень похожей катастрофы в Ирландии моего времени. Я видел, как старые землевладельцы, которые долгое время вели веселую, праздную, гостеприимную жизнь, когда их привилегии и собственность подверглись нападкам опасной агитации, проявляли такой недостаток общественного духа, такое жалкое недоверие друг к другу, такую безрассудную глупость в том, что не тратили время, деньги и энергию на сопротивление своим грабителям, что они потеряли сочувствие всех своих друзей, и хотя они призывали английское влияние защитить их и протестовали против любых уступок и компромиссов, они видели, как у них отнимали землю в результате последовательных законодательных посягательств на их права и их состояние. разорены даже теми, на кого они полагались в своей защите. Много раз я предупреждал окружающих меня людей об этих неизбежных последствиях, но там я увидел другой пример, который дошел до меня с острым сожалением, о страданиях, вызванных простой некомпетентностью. *Quem Deus vult perdere, prius dementat.*

VIII

ВЫСШЕЕ МЫШЛЕНИЕ, ФИЛОСОФИЯ, СПЕКУЛЯТИВНОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ БОГОСЛОВИЕ

В своей последней лекции я говорил о незначительном эффекте, или отсутствии эффекта, который простое интеллектуальное обучение свободным искусствам могло бы оказать на среднюю мораль большого общества. Сегодня я предлагаю перенести вас в более возвышенную атмосферу и рассмотреть, чем занималась элита греческого общества в своем высшем образовании и в своих размышлениях о природе вещей. Вы не должны недооценивать огромные преимущества, которыми тогда обладал юноша знатного происхождения в воспитании своего ума по сравнению с современной молодежью. Во-первых, очень умеренный доход позволил бы содержать семью в комфорте и избавил бы от всех изматывающих забот, которые в нашей современной жизни с ее бесчисленными потребностями мучают так много респектабельных семей. Во-вторых, демон соперничества не вторгся в эти государства, и не было возможности поступать так, как поступали я и многие другие, быть рабом в течение нескольких лет, чтобы получить квалификацию, сдав первым единственный экзамен. В-третьих, не было смысла путешествовать на большие расстояния. То, что стоило увидеть, находилось в пределах легкой досягаемости. В современной жизни есть только Голландия и, возможно, Северная Италия, которые предлагают те же прелести на коротких расстояниях. Огромное количество времени, проводимого американцами в путешествиях, является, пожалуй, одним из самых серьезных препятствий на пути их интеллектуального развития. Если бы Северная Америка была сжата до десятой части своего размера, ее жители могли бы получить немного досуга для получения лучшего образования.

Очевидная вещь, которая поразит любого интеллигентного американца, который только слышал о Платоне и хочет познакомиться с ним через благородный перевод Джоветта, - это количество времени, которое тратят эти Диалоги на то, чтобы прийти к выводу. Более того, часто они представляют собой очень длинный разговор, который вообще не приходит ни к какому завершению. И все же эта особенность необходима для любой высшей тренировки человеческого разума. Вульгарному человеку может показаться, что вы напрасно тратите время, и все же это не напрасная трата времени, а попытка сделать все возможное для достижения великой цели. Земле, движущейся по своей орбите, не нужно задерживать свой

обычный курс, потому что она вращается вокруг своей оси и заставляет всю свою поверхность наслаждаться благословенным светом солнца. И следующее, что вы найдете в Диалогах Платона (лучшего представителя высшего образования, которого я знаю), - это то, что цели, которые мы имеем в виду, не связаны со смыслом, материальными потребностями жизни или достижением успеха в мире. Все они, как и рассуждения святого Павла с Феликсом, имеют отношение к праведности, воздержанию и грядущему суду. Но даже эта область, область этических исследований, не является высшей, которой достигло греческое образование. Ибо их ранние учителя учили их размышлять о вселенной и ее строении, природе разума, природе материи и других высоких вопросах абстрактной метафизики.

Примечательным моментом в этой греческой философии является то, что священнику или чародею нечего на это сказать. Мудрец был мирянином, которому не нужно было бояться ни папы, ни запрета Церкви, чтобы свободно использовать свой разум даже в теологических вопросах. Действительно, были единичные случаи, когда человек, отрицавший существование традиционных богов, или предполагалось, что он это делал, подвергался преследованию со стороны народного негодования. Диагор с Мелоса, прозванный атеистом, был изгнан из обществ, которые считали такое учение опасным; Сократ подвергся аналогичному преследованию, потому что его подозревали в распространении скептицизма среди молодежи, но его казнили только за то, что он вел себя в высшей степени непокорно установленному государственному порядку. Если бы он защищал себя обычным способом, его в лучшем случае оштрафовали бы. Эти единичные случаи упоминаются только для того, чтобы вы не подумали, что они были типичными. Греческая философия, будучи светской, следовательно, была свободной.

Самые ранние мыслители, принадлежащие к ионийской школе, поставили перед собой задачу решить путем умозрения тот самый вопрос, который сейчас занимает все наше внимание при проведении глубочайших исследований в области физики. Они думали, или они вывели из своих наблюдений, что “вещи не такие, какими кажутся”; они обнаружили то, чего мы достигли путем длительного эксперимента, что многие качества, воспринимаемые нашими органами чувств, не являются фундаментальными или первичными, что, как учили Декарт, Локк и Спиноза, механический состав и различные степени движения мельчайших частиц одного и того же вида могут производить совершенно различные впечатления. Наиболее очевидным и поразительным из них для обычного человека является случай с цветом. Декарт предвидел, что различия зависят от скорости вращения частиц; теперь мы знаем, что это не вращение, а вибрация эфира, и так с изменением тонов. Но различия как в цветах, так и в звуках обусловлены более или менее быстрым движением вибрации. Именно это чувствовали Фалес, Анаксимен и Анаксиман, когда говорили, что мир состоит из одного элемента, что влага, теплород, эфир - это примитивное вещество, из которого состоит мир. И эти знаменитые люди были не просто метафизиками, они различными способами демонстрировали свое интеллектуальное величие. Фалес действительно предсказал затмение, к удивлению своих современников.^[45] Он показал им, что меньшая медведица, заканчивающаяся полярной звездой, является лучшим указанием для моряка, чем большая. Он решил проблему измерения высоты недоступного объекта, сравнив его тень с тенью небольшого объекта в пределах досягаемости. Он давал ценные советы в политике. Так что его метафизика была одновременно источником и кульминацией широкой умственной деятельности. То же самое и с Анаксимандром. Он попытался составить первую карту известного мира и добился значительных успехов в астрономии. Анаксимен утверждал, что затмения - это сокрытие одного

небесного тела вмешательством другого. Это были великие подвиги; но они были ничем по сравнению со смелыми попытками решить проблему происхождения и природы мира, при этом их рассуждения, часто ошибочные, тем не менее, оставили осадок мыслей, которые были семенами всей нашей высшей философии.

Если Фалес утверждал, что во всех разновидностях растительной и животной жизни существует общий элемент, который является их реальной или исходной субстанцией, то Анаксимандр считал, что калорический (или магматический принцип) необходим для выработки исходного материала. Его книга утеряна, и его взгляды нам непонятны, но мы знаем, что его геологические наблюдения подсказали ему, что наш мир когда-то был покрыт водой, из которой возникла суша. Более того, он был первым, кто утверждал, что нет ничего вечного, кроме первозданной субстанции вещей.

Башни, увенчанные облаками, великолепные дворцы,
торжественные храмы, сам огромный земной шар,
Да, все, что он унаследует, растворится,
И, подобно бесплотной ткани этого видения,
Не оставит после себя и следа. Мы - такой материал,
из которого создаются мечты; и наша маленькая жизнь
завершается сном.

Он отстаивал эту колоссальную доктрину в самом широком смысле, даже применяя ее к богам греческого пантеона. Анаксимен пошел дальше и, предположив, что частицы эфира являются самыми тонкими во вселенной, он установил принцип разрежения и сгущения материи, утверждая, что это было единственной великой причиной различий в телах, которые мы воспринимаем. Таким образом, это было первое выражение доктрины атомистов, которая сохранилась до наших дней.

Среди экспериментаторов обычным проявлением высокомерия является утверждение, что эти замечательные открытия современной науки были всего лишь блужданиями в темноте, подтвержденными не экспериментом, а тем, что мы должны были бы назвать поверхностными наблюдениями. Тем более удивительно, что эти люди в своих теориях проникли в суть вопроса и продумали метафизические возможности устройства мира. Абстрактное мышление— теория - в конце концов, является истинной основой каждого великого открытия. Полностью игнорируя теологическую космогонию, заимствованную у древних поэтов, они открыто провозгласили рождение естественной науки, порожденной чистым и возвышенным мышлением.

Это еще более очевидно в случае с Гераклитом Эфесским. Но я могу лишь в нескольких словах изложить вам некоторые из его замечательных предвосхищений; чтобы углубиться в любую из этих систем, потребовалась бы целая лекция, а не отрывок из этой беседы. Во-первых, он соглашался с обоими своими предшественниками в том, что один тонкий элемент является основой всей природы, и это он искал в том, что вульгарно называют огнем, но у него была гораздо более тонкая сущность, никогда не замирающая ни на мгновение. Из этого вся вселенная возникла в процессе охлаждения и превратилась в землю, воду и все остальное, но в конце концов они вернутся в свое первоначальное состояние, “так что земля будет свернута как свиток, а элементы растворены с неистовым жаром”. Этот отдаленный взгляд на теорию Лапласа, которая постулирует, что вся наша планетная система начинается с вращающейся

массы, раскаленной добела, менее паразителен, чем другой, который устанавливает принцип, согласно которому в вещах существуют бесконечные движения, которые органы чувств не могут воспринять, и что абсолютный покой невозможен в природе.

Мир никогда не был сотворен;
Он изменится, но не исчезнет.
Так что пусть ветер дует
вечером и утром, и так будет всегда, целую вечность.
Ничто не родилось, ничто не умрет,
Все изменится.[\[46\]](#)

Только вчера новейшие философы-физики заявили о своей приверженности этой доктрине и говорят нам, что каждая частица материи состоит из меньших частиц, находящихся в вечном движении. Гераклит был не менее ясен в отношении относительности качеств материи, которые являются хорошими или плохими в зависимости от случая, и из этого он сделал вывод, что очевидные противоречия могут сосуществовать и что вся природа состоит в вечном конфликте между противоположностями. Природа находится в состоянии войны, сказал он, используя этот термин в гораздо более глубоком смысле, чем это делали более поздние люди.

Эти удивительные гипотезы были изложены в причудливом, живописном, но заумном трактате, который даже Аристотелю было трудно понять, но если когда-либо великое воображение и сеяло семена в умах людей, которые после долгих поколений проросли в современную науку, то это было воображение Гераклита. Его мрачные загадки, приправленные пессимистическими высказываниями, с величайшим презрением к обычной публике, всегда были привлекательны и стимулировали проницательные умы.

Следующее великое имя в этом великолепном ряду - Пифагор, чье влияние произвело революцию не только в науке, но и в политике и этике Греции и создало среди людей новые идеалы, более высокие и чистые, чем идеалы традиционной морали. Но поскольку я уже говорил кое-что о нем в предыдущей беседе, я поспешу перейти к его современникам и преемникам.

Основателем великой школы Элеи, древней греческой колонии ионийцев в итальянском заливе к югу от Пестума, был Ксенофан, главной чертой которого была смелая критика популярной теологии, представленной поэзией Гомера. Он мог легко показать моральные недостатки обитателей гомеровского Олимпа, и, следовательно, сделав вывод об их нереальности, он выдвинул великую доктрину о единстве вселенной, идеальной или реальной, и отождествлении Творца (если он когда-либо существовал) со своим творением — теорию, которая с тех пор существует по сей день под названием пантеизма и как таковая очаровывает высшие умы даже среди холодных и практичных англосаксов. Это чувство единства всего мира с Вечной Причиной мира действительно проявлялось на Дальнем Востоке в других и странных философских системах; но никогда доктрина не обсуждалась с таким разнообразием, как у греков. Возвышенная поэзия, жесткая логика, ожесточенные споры - все это было призвано в ее поддержку, и среди такой дальновидной, скептически настроенной расы, как греки, столь туманная и трансцендентная теория гораздо более паразитична и, следовательно, более плодотворна по своим духовным последствиям, чем когда ее исповедуют простые аскеты или отшельники, которые не имеют контакта с обычной жизнью и которые не снизойдут до

аргументации. Греческие пантеисты раннего периода были людьми с выдающимися качествами в общественной жизни, уважаемыми за их практическую мудрость и литературное превосходство, и именно они навязали миру поразительную теорию о том, что не только все данные наших органов чувств иллюзорны и тщетны, но что даже предположение о каком-либо количестве первоначальных элементов или субстанций бесполезно и должно заканчиваться в великом *Едином*, который охватывает их всех и объединяет богов и людей, материю и разум в то всеобъемлющее Единое Существо, о котором забыли мистики в более поздние века. (но все еще грек) использовал эту потрясающую метафору: “боги - это его смех, раса смертных - его слезы”.

Положительная сторона этой доктрины была в основном заслугой Парменида, о котором Платон говорит с большим уважением, чем о любом другом мыслителе, за исключением Сократа, и это явно было дальнейшим развитием или доведением до крайних последствий более старых теорий, которые сводили все различные качества чувственного мира к проявлениям единой субстанции. Но каждый из них сделал какую-то одну оговорку и поддержал одну из данных органов чувств, но у каждого свою. Разве не был отсюда ясен вывод, что это был всего лишь дом на полпути и что то, что мы называем разумом и материей, в конце концов, не является радикально различными, а лишь отдельными аспектами изначального?

Если вы считаете это старомодными и досужими рассуждениями, мне нужно только отсылать вас к Декарту, отцу современной научной метафизики, который считал, что два его универсальных фактора, протяженность и мышление, в конце концов, были всего лишь качествами единой всеобъемлющей субстанции, которую он называл Богом; или я могу сослаться на Спинозу, духовного ученика Декарта и самого важного пантеиста семнадцатого или, возможно, любого другого столетия.

Положительными аргументами в пользу этой тонкой спекуляции, которая для вульгарной публики любого возраста всегда должна оставаться абсурдной, были, во-первых, ненадежный характер наших органов чувств, которые, как можно было бы показать, не только вводят в заблуждение, но и дают противоречивые сообщения об одном и том же; затем общее согласие всех мыслителей с тем, что среди всех изменений явлений должно существовать нечто постоянное и неразрушимое; затем неспособность любой воспринимаемой субстанции, такой как вода или воздух, какой бы тонкой она ни была, удовлетворять этому условию постоянства и занимать позицию, превосходящую нападки конкурирующих теорий. . Поэтому вы должны все больше и больше абстрагироваться от всех качеств, пока не достигнете того чистого Существа, которое есть все и ничто, дух и тело, единство и бесконечность, вечное, неразрушимое, неизменное, источник и субстанция всего, что когда-либо существовало или когда-либо будет существовать.

Вы можете себе представить, как эти великолепные мечты воспринимались умной и практичной греческой общественностью, как, впрочем, и обычными людьми с того дня и по сей день, всякий раз, когда метафизики или мистики заново излагали великую теорию. Особой заслугой элеата Зенона (а не великого стоика, жившего гораздо позже) было показать придирчивому критику, что трудности, которые заставили философа отказаться от чувств как проводников к истине, могут возникать в случае с обычными фактами нашей повседневной жизни, и что насмешник не может их разрешить. Я делаю упор на эти интеллектуальные головоломки, потому что они постоянно занимали философов вплоть до наших дней, и ни в одном конкретном случае

мы не можем с большей уверенностью утверждать, что греки были отцами современного мышления. И ни на мгновение не воображайте, что, поскольку эти тонкости не приводят к немедленному результату, они, следовательно, бесплодны. С таким же успехом вы могли бы сказать, что физические игры и упражнения бесполезны, потому что они просто приводят к укреплению и совершенствованию человеческого организма и человеческого характера, помимо какого-либо дальнейшего результата. Итак, в чем же заключались загадки Зенона? Я упомяну лишь самое очевидное. Мыслимо ли, чтобы звук состоял из незвучащих вещей? И все же эта абсурдность очевидна. Бросьте одно-единственное просяное зернышко из вашей руки на траву. Оно не произведет ни малейшего шума. Продолжайте со вторым, третьим и так далее, пока не дойдете до тысяч; так происходит со всеми ними. И все же, если вы насыплете полную тележку таких семян, они произведут значительный шум. Как это возможно, если каждое отдельное зернышко молчит? Опять же, вы представляете, что если два тела движутся в одном и том же направлении, одно медленнее, другое быстрее, то последнее вскоре догонит первое. Это не так, и можно доказать, что это невозможно. Представьте себе быстрого Ахиллеса, пытающегося догнать черепаху, и что он пробегает сто ярдов, в то время как другая ползет всего десять. Когда он заканчивает свою сотню, черепаха по-прежнему опережает его на единицу, когда он добавляет эту единицу, черепаха по-прежнему опережает его на $1/10$, затем на $1/100$, затем на $1/1000$ и так далее до *бесконечности*, поскольку математически точно, что ни одна серия никогда не может достичь предела, в одном случае на III, в другом на II ярдах. Следовательно, доказано, что Ахиллес никогда за все время не сможет обогнать черепаху.

Но мы можем пойти еще дальше и сказать, что сама идея движения непостижима. Каждое движущееся тело должно двигаться во времени, а время разделено на моменты времени. В каждый момент движущееся тело должно быть либо в том месте, где оно есть, либо в том месте, где его нет. Поскольку последнее явно абсурдно, тело должно быть в том месте, где оно есть. Но тогда, конечно, это не движение, поскольку движение может быть определено только как смена места. Следовательно, непрерывное движение невысказимо.

Мне ничего не нужно делать, кроме как упомянуть вам, что именно эти проблемы, переданные Зеноном школам, были предметом бесконечных споров на протяжении веков, и если вы даже сейчас, со всеми вашими хваленными успехами, возьметесь за них, вам нелегко будет найти логическое решение. К счастью, мы больше не находимся в положении тех средневековых педантов, о которых мы слышали, что немало сошло с ума или умерло от мозговой горячки, потому что они не могли примирить предвидение и предопределение вещей Богом с абсолютной свободной волей людей. Я искренне надеюсь, что никто из вас также не обременен необычайной справедливостью ума средневекового буриданского осла, который, будучи посажен между двумя совершенно одинаковыми охапками сена, умер от голода, потому что не видел никакой возможной причины для того, чтобы предпочесть съесть одну из них другой. Тем не менее, я надеюсь, вы поймете, что умственная утонченность, которую мы унаследовали от греков, является немалой частью нашего образования.

Но греческие пантеисты оставили человечеству великое наследие не только в силу жесткой логики противоречия. Если я не ошибаюсь, высшая поэзия наших последних дней глубоко обязана той грандиозной теории, что вся природа едина, что все вещи, будь то немые или говорящие, неподвижные или движущиеся, красивые или уродливые, являются проявлениями единого великого Целого, невыразимой субстанции, которую одни называют мировой душой, другие вселенной, третьи Богом, высшим *Единым*, неизменным или с тенью изменения, хотя и

постигается человеком лишь в мириадах вариаций. Вы можете найти такой взгляд на вещи у Шелли, у Вордсворта, у Теннисона, и не будет преувеличением сказать, что в свои высшие моменты и в своих самых благородных стихах все они вдохновлены этим Божественным опьянением. Принято называть это платонизмом, и мой старый друг мистер Шортхаус даже написал эссе, чтобы показать, что респектабельного и аккуратного Вордсворта вряд ли можно назвать христианином, настолько он был пропитан этим пантеистическим чувством. Его представления о предсуществовании человеческой души - они действительно были платоническими; его пантеистические пассажи проистекают из влияния, которое Платон признает, но которому он не позволяет подчинить себя. Вордсворт — самый неровный и часто прозаичный из поэтов, но в свои лучшие моменты он тоже чувствует ту взаимосвязь всей природы, которая безошибочно является греческой, а не английской -

Возвышенное чувство

чего—то гораздо более глубоко переплетенного,
Обиталище которого - свет заходящих солнц,
И круглый океан, и живой воздух,
И голубое небо, а в уме человека -
Движение и дух, которые движут
Всеми мыслящими существами, всеми объектами всех мыслей,
И пронизывают все сущее.

У меня нет времени вдаваться в увлекательную тему пантеизма Теннисона и других наших поэтов. Это действительно всего лишь спазматический звук, но он есть, и это странная нота в пении этой в остальном ручной и прозаичной расы.

Давайте теперь вернемся к великой процессии элладских мудрецов. Не представляется необходимым долго останавливаться на Анаксагоре и Эмпедокле, хотя оба были очень великими фигурами своего времени. Принципиальной чертой обеих их систем было то, что они ощущали нехватку какого-то идеального или полуйдеального принципа, который действовал бы как причина, вызывающая изменения в природе. Анаксагор постулировал, что исходные частицы очень разнообразны по качеству и входят в состав обычных вещей таким образом, чтобы составлять то, что мы называем их различными качествами. Пища, которую мы едим, например, воздействует на все различные части человеческого тела, какими бы разными они ни были, такие как ткани плоти, волосы, ногти, внутренние органы, потому что в этой пище, состоящей из кукурузы или других растительных и животных субстанций, присутствует набор частиц, каждая из которых способствует питанию члена или части, сродни ему. Если мы спросим, как внешние тела собираются вместе и составляют единство, Анаксагор так остро ощущал необходимость движущей причины, что он создал свой знаменитый *Nous*, который мы не можем перевести словом разум, поскольку это все еще была материальная причина, хотя и гораздо более тонкая и активная, чем остальные, такой, какой мы сейчас представляем эфир. Но даже в этом случае Аристотель говорит об Анаксагоре как о великом и плодотворном новаторе, поскольку он увидел, что грубая материя не может начать действовать или даже двигаться без какой-либо нематериальной, духовной или идеальной причины. Судя по тому, что мы знаем об Анаксагоре, он сам продвинулся лишь на небольшой шаг в этом направлении; он только нащупывал свой путь, но то, что он был первопроходцем для Платона и Аристотеля, само по себе не является похвалой. В аналогичном направлении знаменитый Эмпедокл

постулировал принципы Любви и Ненависти, подобно тому, как мы сейчас постулируем Притяжение и Отталкивание, чтобы объяснить разнообразие и движения во внешней природе.

Обратите внимание, что ни один из этих ионийских философов еще не утверждал о великом контрасте разума и материи, о еще большем контрасте Божественного архитектора и его работы. Феномены разума казались им всего лишь результатом тонкого и более неосязаемого сочетания элементов, не отличающихся по своему характеру от природы материальных субстанций. Поэтому, когда совершенно другая школа пришла пересмотреть достижения древних, Ум Анаксагора и Любовь и Ненависть Эмпедокла едва ли воспринимались как шаги вперед. На самом деле какое-то время казалось, что развитие идет в обратном направлении, поскольку последняя великая теория, на которую мы должны обратить внимание, прежде чем мы перейдем к идеальной философии Платона и его последователей, является более решительно материалистической, чем все ее предшественники. Это знаменитая атомная теория Левкиппа и Демокрита, которая утверждала, что вселенная не содержит элементов, кроме атомов и пустоты, атомы являются твердыми физическими частицами только одного качества, но способными к мириадам механических комбинаций в пустоте или пустом пространстве, которые в большей или меньшей степени существовали в каждом теле. В качестве гипотезы это самое простое, что когда-либо предлагалось для объяснения строения вещества; следовательно, оно сохранялось на протяжении всего Возрождения науки в новую эпоху и легло в саму основу современной науки химии. Первоначальные атомы не были задуманы как математические точки или как обладающие каким-либо духовным качеством, подобно монадам Лейбница; они были просто очень маленькими, непроницаемыми и отличались по форме. Именно плотность их сочетания и, следовательно, малая доля пустот в любом теле определяли разницу в удельном весе, а разница в их форме порождала другие качества.

Но как эти атомы собрались вместе? Здесь Демокрит продемонстрировал пророческую ясность видения, которая вполне может удивить современных критиков. Он рассматривал движение в этих атомах как первичный факт, вероятно, выводя его из теории Гераклита. Он утверждал, что, когда эти атомы сталкиваются в пустоте, не всегда прямо, а наклонно, ударяющий и поражаемый приобретают вращательное движение и, таким образом, образуются вихри, которые либо притягивают подходящие атомы, либо отбрасывают другие центробежной силой этого вращения. Таким образом были сконструированы не только огромные сферы, которые мы наблюдаем в небе, но и все обычные объекты вокруг нас. В его объяснения причин неправильных форм этих объектов я не могу вдаваться по причине их запутанности. Но к каким последствиям привела его теория, можно рассказать вам в одном предложении. Он утверждал, с фантазией великого научного ума, что в космосе существует бесконечное количество мировых систем, отличающихся лишь величиной, некоторые снабжены несколькими лунами, некоторые находятся в процессе становления, другие вследствие столкновений находятся в процессе разрушения, некоторые из них полностью лишены влаги и, следовательно, животной и растительной жизни. Все это следствия, которые мы извлекли из использования телескопа и даже спектроскопа, но которых этот замечательный человек достиг путем философского мышления.

Аристотель выдвигает свое главное возражение против атомной теории в том, что она чисто описывает явления, не указывая никакой причины первичного движения атомов; что она не признает никакого Архитектора, никакого Демиурга, который привел в движение мириады

частиц, а затем и в регулируемое действие. Но Аристотель был введен в заблуждение предположением, которое заразило философию вплоть до наших дней, — предположением, что состояние покоя предшествует материи и более естественно для нее, чем состояние движения. Этот предрассудок не ввел Демокрита в заблуждение, хотя это идол не только пещеры, как сказал бы Бэкон, но и форума. Относительное отсутствие движения ввело нас в заблуждение, заставив считать, что до тех пор, пока материя не будет потревожена активным импульсом, она занимает фиксированное место. Но сейчас, я бы даже сказал, с начала двадцатого века, эта старая логическая ошибка уступает место более новой концепции, согласно которой в природе нет такого понятия, как покой, более того, даже внутри частиц какого-либо твердого тела. Итак, изначальное предположение греческого мыслителя о том, что движение является естественным состоянием материи, было замечательным предвосхищением науки и еще раз показывает, каких гигантских успехов может добиться человечество с помощью мышления по сравнению с простой записью экспериментов. Даже сейчас, когда студенты, изучающие экспериментальную физику, вырождаются в простых механиков, которые стремятся исследовать природу с помощью тонких механизмов и тщательно регистрируемых явлений, те в нашем великом университете, кто был вынужден в прежней жизни приобрести основательные знания греческой философии, уверяют меня, что изучение древних *гилосоистов* — ионийских школ, которые мы рассмотрели, — это самое лучшее введение в высшую задачу построения теорий на основе экспериментов, и когда я слышал, что в школьных сочинениях, написанных в незнании этих теорий, я часто удивлялся отсутствию знаний о греческой философии. научная логика последовательного мышления, ясного представления, которые характеризуют современного ученого. И когда мы сталкиваемся в наших университетах с гигантскими требованиями современных ученых к лабораториям, оборудованию, содержанию и тому подобному, продвигая то, что они называют очень смехотворно *оригинальными исследованиями*, им следует открыто и постоянно говорить, что ни один простой механик, ни один простой торговец, каким бы великолепно оснащенным он ни был, никогда не будет стоить ни гроша в оригинальных исследованиях. Такое высокое призвание, если оно не должно быть простым названием, простым обманом, требует в качестве своего первого воплощения тренированного интеллекта, обученного рассуждать и разрабатывать теории, которые могут быть проверены или проиллюстрированы механическими инструментами, а могут и не быть. Величайшими первооткрывателями в современной науке были люди с плохими инструментами и небольшим оборудованием. У древних греков их вообще не было, и все же к скольким тайнам мира они приблизились и разрешили их просто силой чистого и здравого рассуждения! Когда мы слышим, как недалекие современные ученые задаются вопросом, как греки могли продвинуться так далеко без современных инструментов, мы склонны сказать им, что удивляемся, как современники так много сделали с их помощью, ибо в абстрактном мышлении лежит реальная основа каждого великого открытия.

До сих пор ход греческой философии уводил нас в сторону науки, к строению мира, к необъятности пространства, к физическому устройству животной и растительной жизни, к проблеме длительности вселенной, к мечтам о ее происхождении. Рассматривая все это как *натурфилософию* (используя устаревшее, но удобное выражение), остается еще одна сфера греческой спекуляции, которая зародилась с Сократом, перешла через Платона и Аристотеля к стоическим и эпикурейским школам и даже осветила своими заходящими лучами старый мир, погружающийся в ночь Темных веков. Две вещи, говорит философ Кант, всегда поражают меня своим несравненным величием — звездное небо вверху и Нравственный Закон внутри. Именно

об этом последнем аспекте человеческой философии, связанном, с одной стороны, с глубокой метафизикой, а с другой - с обычной практической жизнью, я должен сейчас поговорить. Но здесь, где материал обширен, а наши доказательства очень полны, мне нецелесообразно задерживать вас надолго. Для кого-то из вас может быть новым, что Парменид или Левкипп были отцами современных систем; но никто из вас ни на мгновение не усомнится в колоссальном влиянии Платона и Аристотеля на современную мысль.

Вы должны остерегаться преувеличения революции в философии, произведенной Сократом и софистами. В их случае действительно может быть правдой то, что они презирали научные спекуляции и не стремились проводить исследования устройства Вселенной. Горгий даже возвел в теорию свой скептицизм относительно реальности наших знаний и написал знаменитый трактат о невозможности что-либо познать; и он ни в коем случае не был единственным нигилистом в курсе греческой философии. Но когда мы обращаемся к Платону, мы находим высокие физические рассуждения, мы находим высокие теории вселенной, мы находим все знания его предшественников вплетенными в его систему или используемыми в качестве иллюстрации. Идеи пифагорейцев, в частности, постоянно оказывали на него влияние, и его пропаганда обучения геометрии, которая, возможно, в большей степени, чем люди думают, сформировала учебную программу современных государственных школ в Европе, является пифагорейской по духу.

Но, несмотря на эту настоятельную рекомендацию, не похоже, чтобы сам Платон добился каких-либо успехов в этой науке. Его целью было моральное реформирование личности, а вместе с ней и общества, путем метафизического и этического воспитания. У него было более высокое мнение о ценности образования, чем даже у современного демократа или английского радикала, который воображает, что, вливая знания в массы, можно сделать их равными классам в утонченности и удобствах жизни. Но образование Платона предназначалось строго для правящего меньшинства; он не думал, что ремесленник или чернорабочий подходит для этой высокой привилегии, и во всех своих идеальных схемах он представлял либо исключительного человека монархом (в *Политике*), либо небольшую олигархию опекунов (в *Республике*), либо фиксированный свод строгих законов, с суровыми наказаниями за любое их нарушение или даже оспаривание — все это явно аристократические силы — в качестве гарантов общества. И несмотря на все эти этические гарантии, он не верил, что любое государство, даже идеально построенное, будет существовать вечно, но что оно должно пережить молодость и зрелость и в конечном итоге достичь дряхлости.

Я не буду возвращаться к политическим спекуляциям Платона, которые относятся к другой части моей темы. В настоящее время меня интересуют его теология и метафизика. Стоит ли удивляться, что раннехристианские мыслители, такие как святой Августин, восхищались им и называли его аттическим Моисеем? В своей *Республике* он заходит так далеко, что предлагает для своего идеального государства изгнание Гомера и других эпических поэтов и установление более возвышенного вероучения, необходимого для чистоты и здравомыслия. Истинное божество должно быть единым и творцом всего благого. Он должен быть свободен от всякого проявления страсти или каприза, без любви или ревности, без гордыни или интереса. Любые недостатки, которые могут быть в мире, вызваны не его недостатком благожелательности, а его недостатком всемогущества в контроле над потребностями вещей, или, возможно, скорее потому, что ни одно существо, всемогущее или нет, не может быть понято как примиряющее абсолютные противоречия.

Возможно, например, для творения было бы лучше и благороднее, если бы существовали существа, обладающие собственной свободной волей и не похожие на машины, управляемые непреодолимой необходимостью. Но если у них действительно есть свободная воля, как возможно, что они не ошибутся и не причинят зло миру в результате своей свободы? И все же, если это является причиной зла в мире, это подразумевает более высокое и лучшее состояние, чем состояние совершенного порядка, когда идеи добродетели и заслуг вычеркнуты из существования.

Платон идет дальше, чем кто-либо, кроме высших христианских богословов, когда он объявляет Нравственный Закон вечным и неизменным и обязательным даже для Создателя вселенной. Другими словами, великий средневековый спор — делает ли Бог что-либо, потому что это правильно, или вещь должна быть правильной, потому что это делает Бог, — этот спор разрешен в смысле того, что кембриджские платоники называли Непреложной Моралью. Если такова обязанность, в соответствии с которой действует даже Божество, то очевидным следствием является то, что ничто в поведении людей не сравнимо со справедливостью, ничто по достоинству не сравнится с повиновением Моральному Закону, независимо от каких-либо последствий. Более того, быть наказанным за неправильный поступок гораздо счастливее и лучше, чем избегать последствий и, таким образом, упускать великий урок о том, что преступление влечет за собой страдания как справедливое следствие. Соответственно, ясное знание моральных принципов имеет первостепенное значение для всех людей, и во времена Платона часто было более сложной проблемой выбрать правильный курс, чем следовать ему, когда его обнаруживали. В этом смысл многочисленных исследований правильного значения терминов, выражающих моральные идеи. Что такое *справедливость*, что такое *воздержанность*, что такое *целомудрие*, что такое *святость*? По всем этим вопросам было нетрудно показать путем обсуждения, что популярные представления расплывчаты и часто противоречат друг другу. Первым шагом к более чистой жизни было понять ее условия, использовать интеллект, равно как и волю, для того, чтобы влиять на поведение людей. Следовательно, человек, который не испытывал трудностей при исполнении своего долга, когда однажды ясно увидел его перед собой, вполне мог бы сказать вместе с Сократом и Платоном, что добродетель - это знание, что правильная жизнь - это наука, и что, следовательно, высокое образование - необходимое условие благородного характера.

Такое отношение чуждо христианской морали, которая признает ребенка и невежду более пригодными для спасения, чем мудрых и рассудительных. Но такая теория, подобно теории первобытной Церкви, где у членов было все общее, может быть очень практичной в начале революции, но впоследствии может оказаться непрактичной. Не только из-за своей предполагаемой испорченности и упадка Средневековая Церковь стала игнорировать ту бедность и равенство всех христиан, которые мы находим в Иерусалиме в Деяниях Апостолов. Среди людей есть аристократия, которую ни одна система религии, морали, политики не может игнорировать без катастрофических последствий, и это аристократия интеллекта. Это был урок, которому Платон учил на каждой странице, и именно он заставил его размышлять о природе души и ее отношении к Творцу вселенной, а также о знании вещей более высоких и глубоких, чем простой обычный опыт.

Лишь постепенно он пришел к убеждению в бессмертии, или, скорее, в вечности души; вероятно, это было внушено ему мистиками и теологами среди греков. Но в своем диалоге, известном как *Федон*, он обсудил эту ныне принятую веру со всеми ее трудностями. В лице

Сократа он преодолел все возражения и попытался показать на метафизических принципах, что душа, будучи совершенно простым активным началом, отличным от тела и превосходящим его, не исчезнет со смертью своей обители, но будет существовать после смерти, как она существовала, от вечности к вечности. Покойный Эрвин Роде, критик, отнюдь не благосклонный к богооткровенной религии, говорит, я думаю, совершенно справедливо, что “ни один учитель человечества никогда не делал так много, как Платон, для распространения этой веры”, которая породила не только благороднейшую духовную жизнь, но и благороднейшую поэзию. Вы знаете это по вашим английским поэтам, возможно, лучше всего по трезвому Вордсворту —

Наше рождение - всего лишь сон и забвение;
Душа, восходящая вместе с нами, Звезда нашей жизни,
Заходила в другом месте
И приходит издалека.

И еще:

Поэтому в тихую погоду,
Хотя мы находимся далеко от суши,
Наши Души видят то бессмертное море,
Которое привело нас сюда,
Могут в одно мгновение перенестись туда,
И услышать, как дети резвятся на берегу,
И слышать могучие волны, катящиеся во веки веков.

Нужно ли мне перейти к Аристотелю и подробно показать, как его философия настолько доминировала в средневековом образовании, что была принята и защищена Церковью, и что это стало одной из попыток духа реформы в логике и психологии разорвать оковы, которые этот великий мыслитель, как часто жаловались современные умы, выковал, чтобы удержать человеческий интеллект от его продвижения вперед? Нужно ли мне говорить вам, что это произошло из-за пародии на великого человека, полученной не из его собственных содержательных слов, а из переводов и комментариев?

В заключение я упомяну две великие системы, которые доминировали в римском мире после того, как Платон и Аристотель превратили философию в этическое русло, — я имею в виду системы стоиков и эпикурейцев, которые описали человеческий характер с такой ясностью, которая делается нашими учителями по сей день. Не то чтобы они избегали размышлений о природе вселенной. Физика Эпикура, заимствованная у Демокрита, относится к числу наиболее трудных исследований, и стоики считали мотивом действий своего мудреца всю гармонию вселенной. Возможно, сейчас эти рассуждения устарели, но как учителя этических типов, как толкователи того, что высшая человеческая мудрость находит в своем поиске счастья, эти две школы определили типы цивилизованных людей на все времена. Каждый человек в этой аудитории рожден либо стоиком, либо эпикурейцем, либо, что, возможно, гораздо более распространено, чередует одно с другим в зависимости от обстоятельств. В своей простейшей

форме великий вопрос таков: должны ли мы жить ради долга или ради удовольствия — конечно, не просто вульгарного чувственного наслаждения, но того утонченного баланса интеллектуального и морального удовольствия, которое вы найдете наилучшим образом объясненным в *"Мариусе эпикурейце"* моего старого друга Уолтера Патера; или же нам следует искать свой стандарт вне самих себя, в законах, которые Моральный Правитель мира установил для его блага, и сотрудничать с Ним в продвижении Его великих целей? Таков идеальный мудрец стоиков, который презирал все земные наслаждения, все физические наслаждения ради великого закона долга и великой миссии жить ради какой-то более благородной цели, чем просто животные или социальные удобства. Мы находим его лучшее выражение в изложении системы Цицероном[47]; или, если вам угодно, в более знакомой форме, в громком возгласе святого Павла: "Как обманщики, и все же истинные; как неизвестные, и все же хорошо известные; как умирающие, и вот, мы живем; как скорбящие, но всегда радующиеся; как бедные, но все же верные". делая многих богатыми; как ничего не имеющий, но обладающий всем".[48] Ибо он тоже был воспитан стоиком и не боялся в своих обращениях к образованным людям своего времени проповедовать стоическую теологию, сродни пантеизму.

Если когда—нибудь наступит время, когда людьми больше не будет руководить откровение, когда они отвергнут чудо и пророчество и решат руководствоваться простым светом разума (люди часто предвидели такое будущее, несмотря на тот факт, что до сих пор религиозный скептицизм всегда заканчивался отвращением к этой свободе и возрождением позитивных и даже суеверных верований) — если, говорю я, в такую эпоху когда-нибудь откажутся от христианской веры, все еще останутся этические типы, которые выкристаллизовали Зенон и Эпикур в своих системах - всегда останется человек долга и человек удовольствий, человек, который живет для других, и тот, кто живет для себя, выражаясь современным философским жаргоном, альтруист и эгоист, спиритуалист и материалист.

И здесь я прерываю свою незавершенную задачу, действительно незавершенной, какой она и должна быть, ибо помимо многих вещей, которые я опустил, хотя и знал о них, есть еще много упущенных, потому что я их не знал, потому что я не постиг непостижимой глубины и бесчисленного разнообразия того гения, который живет, предлагает и работает во всех идеальных аспектах нашей современной жизни. Вероятно, найдется немного людей, которые прожили дольше и более тесно с древними греками, на большем количестве этапов их жизни, постоянно исследуя и стремясь к более глубокому и лучшему знанию их обширного наследия для человечества, так много из которого было утрачено или уничтожено зубами грызунов времени, кощунственными руками людей. Чем дальше я ищу, тем шире открываются передо мной перспективы, которые я вижу. Так что теперь, когда мое участие в гонке почти завершено, для меня не остается более высокого земного удовлетворения, чем то, что я пронес факел греческого огня в течение долгой жизни, — нет более высокой земной надежды, чем эта, что я смогу передать этот факел другим, которые, в свою очередь, смогут поддерживать его пламя, возможно, с большим блеском, но не с более искренней преданностью, "в Парламенте людей, Федерации мира".

СНОСКИ:

[1] Недавняя книга Августа Фика о географических названиях греческих земель показывает, что подавляющее большинство из них не являются греками, и это особенно касается Аттики, чистейшего очага культуры, показывая, что даже здесь выжило большое коренное население. Это новое значение притязаний афинян на то, чтобы быть *автохтонными*, или коренными детьми земли.

[2] Читатели моих *прогулок и учебы в Греции* помнят, как однажды я потерпел кораблекрушение в самой гавани Эгины и был вынужден искать гостеприимства в скромном частном доме. Когда я увидел хозяйку дома утром, при свете дня, я крикнул своим товарищам, что в комнату вошла одна из фигур Парфенона. Великолепный типаж был здесь в своем совершенстве.

[3] *Одиссея* Гомера, две трагедии об Эдипе Софокла, *Птицы и лягушки* Аристофана, пифийские оды Пиндара, не говоря уже о более мелких жемчужинах, таких как отрывки Сапфо и Симонида, Идиллии Феокрита.

[4] Конечно, этот общий вывод может быть совершенно ошибочным. Искусственные вещи часто являются реальным и значительным улучшением природы.

[5] Вероятно, это относится к Гиппонаксу.

[6] Это замечание взято из "Почти забытых *догадок об истине*" Хэйра, превосходной книги.

[7]

"Остры были его муки, но гораздо острее чувствовать было нельзя"
Он лелеял шестерню, приводившую в движение сталь"

это прямо из Эсхила.

[8] Я не знаю перевода всех семи пьес Эсхила, который я мог бы порекомендовать, хотя есть много замечательных версий "*Агамемнона*", но среди английских репродукций Софокла позвольте мне обратить ваше внимание на перевод м-ра Уайтлоу, большинства Еврипида - на перевод м-ра Уэ. Оба они в высшей степени являются работой ученых, которые также являются поэтами.

[9] Едва ли нужно добавлять, что блестящие комедии Аристофана можно найти в хорошо известных книгах Дж. Хукхэма Фрера и мистера Роджерса, который совсем недавно выпустил еще одну пьесу.

[10] Я говорю *фреска*, потому что обычно на ней изображены исторические сцены.

[11] Теперь читатель может обратиться к блестящему и наводящему на размышления *Мифоисторическому Фукидиду* мистера Корнфорда по этому аспекту историка и его работы.

[12] Книга iii., 82-4

[13] Ср., например, то, что Геродот рассказывает нам в своей четвертой книге "Дела Кирены".

[14] Я должен отослать аудиторию за подробностями к главе о Фукидиде в моей *Истории греческой литературы*.

[15] Детали ритма и гармонии, до которых они снизошли, таковы, что я вряд ли смог бы объяснить их вам в коротком отрывке лекции, но должен отсылать вас к главам об Исократе и Демосфене в моей *Истории греческой литературы*.

[16] Ср. § 457 моей *греческой литературы*.

[17] Об этом см. §§ 416, 437 моей *греческой литературы*.

[18] Исключение может быть сделано для подлинных писем, подлинные оригиналы которых мы нашли среди египетских папирусов. Здесь, среди греков, рассеянных по всему миру, потомков предприимчивых солдат-наемников, мы находим все урбанистические особенности современного письма. Все римские формулы вежливости, которые мы находим в письмах Цицерона, были заимствованы из этого источника — давно существующих греческих форм переписки.

[19] Если *"Ромео и Джульетта"* Шекспира заканчиваются не счастьем, а катастрофой, то приемы пьесы — снотворное, сокрытие в гробнице, где влюбленные снова соединяются, — это стандартные приемы наших греческих романов, настолько очевидные, что история, должно быть, была заимствована в итальянских версиях из греческого романа такого рода. Боккаччо явно находился под влиянием этой литературы.

[20] Первые зачатки музыки в виде свистков или свирелей найдены среди доисторических останков людей, которые никогда не учились писать, а только рисовать картинки.

[21] В самых грубых случаях дом не выкапывали, а строили на поверхности, а затем засыпали земляной насыпью.

[22] Камень внутренней перемычки длиной 30 футов, глубиной 16 и толщиной более 3 весит около 112 тонн. *Дромос* имеет 115 дюймов в длину и 19 дюймов в ширину. Дверной проем 17½ футов в высоту и 8 футов в ширину вверх, расширяющийся до 8½ футов у земли. Вся камера около 50 футов в высоту и 50 в ширину. Прочитайте описание у Бедекера, стр. 324.

[23] Камера для улья, как я полагаю, была импортирована из северной и центральной Европы и, следовательно, вероятно, связана с этим штаммом ранней греческой цивилизации.

[24] *Исследования Виллари*, стр. 258.,

[25] Бог, — говорит Геродот в знаменитом диалоге Ксеркса и Артабана о мимолетном характере человеческого счастья, — Бог, давший человеку сладкий вкус жизни, скупится на пособие по безработице.

[26] Ничто так не поражает воображение в старых церквях таких городов, как Люнебург, Висмар, Росток, как изображение Распятия на резных деревянных изделиях, используемых в качестве рeredo в различных часовнях, а также над главным алтарем. Главные фигуры выполнены в горельефе, толпа, стоящая перед ними, на виду, все богато раскрашено, многоцветно, а также покрыто позолотой. Если не касаться болезненной темы, то эти триумфы резчика, возможно, самые великолепные в средневековом искусстве. Великолепные гробницы герцогов Бургундских в Дижоне являются их достойными соперниками в камне.

[27] Покрытые пеной головы лошадей восходящего солнца в левом углу восточного фронтона Парфенона являются великолепным исключением из этого спокойствия в углах фронтона, и сдержанное спокойствие лошадей Селены, которые представляют ее закат, подчеркивает это исключение.

[28] Это я говорю вам из первых рук, по свидетельству моего сына, который много лет прожил на Соломоновых островах и сотни раз видел, как это делают местные жители, но ни разу даже после отчаянных усилий европейца.

[29] Любопытное исключение теперь делается для панелей с портретами умерших, найденных на ящиках с мумиями первого и второго веков в римском Египте.

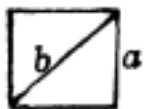
[30] И все же было предпринято несколько невежественных и случайных попыток воспроизвести ее с современными гармониями.

[31] Это точка зрения, отстаиваемая в *Трактате о музыке* Филодема, большие фрагменты которого были обнаружены на обугленном папирусе из Геркуланума. Есть еще один фрагмент аналогичного характера, недавно обнаруженный и напечатанный господами Гренфеллом и Хантом. Гренфелл и Хант.

[32] А именно.: $1 + 3 = 222$; $1 + 3 + 5 = 32$; $1 + 3 + 5 + 7 = 42$, и так далее.

[33] Существует даже арифметическое доказательство, упомянутое Аристотелем, что отношение стороны к диагонали квадрата не может быть одним из целых чисел.

Если бы это было так, отношение было бы отношением двух чисел в наименьших терминах, и, следовательно, одно должно быть четным, а другое нечетным, иначе оба все равно делились бы на 2.



here $b^2 = 2a^2 \therefore a$ нечетно, а b четно.

Теперь пусть $b = 2c$ тогда $4c^2 = 2a^2$ и $2c^2 = a^2 \therefore a$ четно, а b нечетно, что абсурдно.

[34] Читатели, желающие продолжить изучение этой темы, найдут лучшее ее изложение у проф. Дж. Статья Смайли в сборнике эссе, посвященном профессору. Николь Женевская.

[35] Heron, περί αὐτοματοποιητικῆς, заглавные буквы iii. и iv.

[36] Смотрите мою эпоху ирландской истории, последнюю главу.

[37] Его теория изложена в нескольких ныне забытых книгах, полных знаний. Это теория четырех фундаментальных гармоний, или элементов, отношения которых порождают в каждом теле здоровье и болезнь.

[38] πάρ γάρ ἐμοί θάνατος,, сказал Агамемнон, согласно копии, которую цитирует Аристотель.

[39] ἐπὶ ῥήτοισι γέρασι πατρίας βασιλείας (Pol.).

[40] ΧρέΩντοπόκη и γῆς ἀναδασμός

[41] Неудачная попытка Agis III. гибель Спарты привела только к его собственному разорению.

[42] *Сентезименская узура*

[43] Фраза о “здравом уме и обдуманном намерении” (Νοῦν καὶ φρονῖμ) указывает на то, что неоднократно говорилось в речах Исея; по вопросам спорного наследования, даже если завещание было доказано подлинным и полностью засвидетельствовано, его можно было бы отменить, если бы были представлены доказательства неправомерного влияния, такого как невменяемость, действие напитка или обман женщин, даже жены завещателя. Случаи, которые, как он утверждает, могут иметь место сегодня и обсуждаться аналогичным образом.

[44] В *Трудах* Туринской академии, 1826.

[45] Это произошло 28 мая 585 года до нашей эры

[46] Так говорил Теннисон в стихотворении своего детства.

[47] *De Finibus*, библиотека iii., подзаголовков.

[48] 2 Кор. vi., 9, 10.